

И. М. Тойбин

Тушкин и
Философско-
историческая
мысль
в России
на рубеже
1820 и 1830
годов



ВОРОНЕЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1980

Рассматривается процесс формирования пушкинского историзма в тесной связи с движением философско-исторической мысли на рубеже 1820-х и 1830-х гг. Характеризуются соотношения А. С. Пушкина с М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым, П. Я. Чаадаевым, его позиция в полемике вокруг «Историй» Н. М. Карамзина и Н. А. Полевого. Анализ философско-исторических вопросов сочетается с изучением литературно-эстетической проблематики. К исследованию привлечен архивный материал, а также малоизвестные источники.

Издание рассчитано на преподавателей, аспирантов и студентов вузов, учителей, а также всех интересующихся творчеством А. С. Пушкина.

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Воронежского университета

Рецензенты:

д-р филол. наук проф. Б. Ф. Егоров,
канд. филол. наук В. Э. Вацуро

Историзм по праву считается одной из ключевых проблем мировоззрения и творчества Пушкина. Именно историзм, духом которого проникнуты создания поэта, открыл в литературе невиданные прежде возможности художественного постижения действительности, внес живое и трепетное ощущение динамики и непрерывности исторического процесса, стал основой реалистического метода и стиля¹.

В свое время Б. В. Томашевский справедливо подчеркнул, что «историзм не является врожденной чертой творческого облика Пушкина, особенностью, с которой он родился»². К этому можно добавить, что он не был также результатом одного только личного опыта поэта. Историзм формировала эпоха, время, отмеченное повсеместным и необычайно интенсивным пробуждением исторического сознания, исторических интересов; он был тесно связан с общим движением западноевропейской и русской философско-исторической мысли. Вот почему одна из актуальных задач пушкиноведения — выявить этот процесс, раскрыть его на конкретном материале.

Предлагаемая книга посвящена анализу соотношения Пушкина с развитием философско-исторической мысли в России, с той борьбой и теми дискуссиями, которые происхо-

¹ Подробнее об этом см.: Тойбин И. М. Пушкин. Творчество 1830-х годов и вопросы историзма. Воронеж, 1976. Проблемы пушкинского историзма освещались многими исследователями. Наиболее значительны работы Г. А. Гуковского и Б. В. Томашевского. Применительно к творчеству поэта 1830-х гг. они рассмотрены в кн.: Макогоненко Г. П. Творчество Пушкина в 1830-е годы (1830—1833). Л., 1974. Вопросам историзма в критике пушкинского времени посвящена работа: Милованова О. Проблемы художественного историзма в русской критике пушкинской эпохи. Саратов, 1976.

² Томашевский Б. В. Историзм Пушкина. — В кн.: Томашевский Б. В. Пушкин. М. — Л., 1961, кн. 2, с. 155.

дили в ней в конце 1820-х — начале 1830-х гг.³ Этот хронологически небольшой отрезок во многих отношениях является переломным как в творческом развитии самого Пушкина, так и в общем процессе идеологического и художественного размежевания, происходившего в жизни русского общества.

Тема, сформулированная в заглавии книги, чрезвычайно обширна; она может изучаться на разных уровнях, в разных аспектах. В предлагаемом исследовании взяты лишь отдельные, наиболее существенные, ее грани. В работе рассматриваются такие вопросы, как особенности развития философско-исторической мысли после 14 декабря; Пушкин и проблема исторических судеб России; Пушкин в его связях с современниками — М. Погодиным, С. Шевыревым, П. Чаадаевым; отношение Пушкина к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (XII том которой вышел в 1829 г.) и «Истории русского народа» Н. А. Полевого и др.

Хотя в центре книги находится, естественно, философско-историческая проблематика, автор стремился там, где это необходимо, органически увязать ее с анализом вопросов литературно-художественного плана.

³ См. в этой связи: Вацуро В. Э., Пугачев В. В. Пушкин и общественно-литературное движение в период последекабрьской реакции. Ситуация 1825—1937 годов. — В кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения/Под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха. М. — Л., 1966, с. 198—235.

ВВЕДЕНИЕ

Обозначившаяся с конца XVIII в. новая эпоха революционных бурь, национально-освободительных движений, грандиозных потрясений и сдвигов в судьбах народов и государств дала необычайно мощный толчок формированию исторического мышления. На смену рационалистическим и метафизическим концепциям XVIII в. приходят идеи исторической закономерности, признание власти исторических законов, понимание исторического процесса в его внутреннем единстве, в его динамике. Наступает поря необычайно интенсивного развития исторической мысли, расцвета исторической науки. В этом общеевропейском движении можно выделить несколько ведущих тенденций.

Одна из них — сближение истории с философией, обостренный интерес к вопросам исторической методологии, к проблемам философии истории. Наряду с разработкой конкретных историографических тем бурно развивается философско-историческая проблематика; история становится предметом и объектом философских построений.

Идеи слияния истории с философией наиболее широко развивались во французской историографии, в частности в деятельности Кузена и особенно его ученика Мишле. Кузен считал «историю отражением философии, целой философской системой»¹. Мишле говорил о «необходимости сочетать философию с историей», о том, что «они дополняют друг друга»².

С другой стороны, наблюдается не менее интенсивное сближение истории с социальными науками. Социальность становится существеннейшим признаком исторического сознания, исторического мышления. Быть может, один из

¹ Рейзов Б. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956, с. 302.

² Цит. по: Коган-Бернштейн Ф. А. Жюль Мишле и его книга «Народ». — В кн.: Мишле Ж. Народ. М., 1965, с. 163.

наиболее наглядных тому примеров — Сен-Симон и его школа. Глубоко примечательно, что социальная доктрина Сен-Симона опирается на новое понимание истории, и не случайно, конечно, анализ исторической системы взглядов занимает у него значительное место (напомним, что в «Изложении учения Сен-Симона» ей посвящена особая лекция — «Закон развития человечества»). Характерно в этой связи и другое: учениками Сен-Симона являлись, с одной стороны, О. Тьерри, основоположник новой исторической школы, с другой — О. Конт, творец позитивистской социологии. Именно исторические идеи Сен-Симона оказали решающее влияние на французскую романтическую историографию с ее социологизмом, с ее вниманием к жизни общества³.

Сложный процесс формирования исторического метода, тесно связанный с общим движением исторической мысли, нашел свое отражение и в России. Здесь особая его интенсивность падает на период, наступивший после 1825 г., когда в связи с разгромом декабристов и необходимостью решить важнейшие вопросы, выдвигавшиеся ходом общественного развития, резко возрос интерес к исторической проблематике. Названный процесс был неотделим от общей «переоценки ценностей» — пересмотра декабристских концепций и представлений, происходившего в 30-е гг. в атмосфере переходного времени и касавшегося не только их политических доктрин, но и философских, методологических позиций.

Новая эпоха, когда открытая политическая борьба практически оказывалась невозможной, как никогда прежде обострила внимание к вопросам теории, к проблемам философского, исторического, морального порядка. Отсюда — широкое распространение философских интересов среди интеллигенции. Философия была призвана дать метод для решения важнейших вопросов действительности, помочь выработать те «начала, на которых должны быть обоснованы всякие человеческие знания»⁴. Она рассматривалась как «наука наук», как «наука познания вообще»⁵.

В этих условиях само развитие исторических знаний тесно сплелось с философией. В первую очередь предстояло

³ Подробнее об этом см. Гинзбург Л. «Былое и думы» Герцена. Л., 1957, с. 18—22.

⁴ Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884, с. 12.

⁵ Веневитинов Д. Письмо к графине NN. — (Полн. собр. соч. М. — Л., 1934, с. 253, 254.

определить методологические принципы исторического исследования, выработать новое качество исторического мышления. Вот почему особую остроту и актуальность в русской общественной жизни этих лет приобретают вопросы философии истории; обнаруживается стремление приложить общие философские принципы к истории человечества, выяснить характер и смысл исторического процесса и места в нем человеческой личности, народа, государства. История в таком плане — это тоже «наука наук», как и сама философия, это «практическая проверка понятий о мире и человеке, анализ философского синтеза»⁶.

На страницах журналов, в публицистике этих лет появляется обильная литература, посвященная философско-историческим проблемам; повсеместно выдвигается требование философского подхода к истории. Не забудем, что вопросам философии истории посвящает свои «Философические письма» П. Я. Чаадаев (он и называл их «Письмами о философии истории»). В статье «Философия истории» (из Кузена), опубликованной в «Московском телеграфе» (1827, ч. 14), разграничивается история, освещающая отдельные события, этапы и эпохи человечества, и философия истории, призванная ответить на её общие, философские вопросы.

«Я занимаюсь историей, — писал Станкевич 10 ноября 1835 г., — но она для меня привлекательна как огромная задача философская»⁷. В том же году в «Московском наблюдателе» была помещена статья Ястребцова «Взгляд на направление истории». Констатируя, что «почти все теперь в истории подверглось сомнению», автор считает главной чертой нового состояния историографии «отвлечение от частных событий (философия истории)»⁸.

Само понятие философии истории оказывалось при этом весьма многозначным; в него вкладывалось различное реальное содержание, различный смысл.

Прежде всего речь шла о выработке наиболее общих, теоретических принципов понимания исторического процесса, о философских основах исторической науки. Старая рационалистическая философия истории, бравшая в качестве исходного пункта своих построений идею отвлеченного,

⁶ Полевой Н «История государства Российского». Соч Карамзина. — Московский телеграф, 1829, т. 27, с. 476.

⁷ Станкевич Н. В Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857, с. 153.

⁸ Московский наблюдатель, 1835, т. 1, с. 693, 695.

всегда себе равного «естественного человека», явно обнаружила свою несостоятельность. «Вдумываясь в философские основы исторической мысли, — писал П. Я. Чаадаев, — нельзя не признать, что она призвана теперь подняться на несравненно большую высоту, нежели на какой она держалась до сих пор». И далее он прямо заявлял: «Разум века требует совершенно новой философии истории»⁹.

Вместе с тем очень скоро становится очевидным, что в России 1830-х гг. содержание философии истории необъятно расширяется, что она все больше выходит за свои непосредственные границы, преломляя важнейшие грани общественного сознания; она оказывалась на стыке философии, истории, морали, психологии, соприкасаясь со всеми этими сферами.

В целом в движении русской философско-исторической мысли 1830-х гг. можно условно выделить два течения, из которых одно опиралось преимущественно на идеи немецкой идеалистической философии, на романтические идеи шеллингианства прежде всего, другое — ориентировалось на методы французской исторической школы, на ее социологические доктрины. Практически, однако, течения эти не существовали в их чистом виде; напротив, они тесно переплетались между собой. Речь должна идти скорее лишь об акцентах, которые сами постепенно перемещались, сдвигались.

Одновременно с усвоением и критическим пересмотром западноевропейских теорий шел интенсивный процесс вызревания самостоятельной русской философско-исторической мысли. «Чужие мысли, — писал И. Киреевский, — полезны только для развития собственных... Наша философия должна развиться из нашей жизни...»¹⁰. Хотя речь здесь идет непосредственно о философии, тезис, выдвинутый И. Киреевским, имел более обширный смысл и конечно же целиком распространялся также и на область философии истории.

Известно, что важнейшим теоретическим основанием философско-исторических построений в кругах последкабрьской интеллигенции являлось шеллингианство. При всей своей противоречивости романтическая философия Шеллинга с ее элементами диалектики не могла не стимулировать развития исторической мысли. «Я предвижу, что исто-

⁹ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. М., 1914, т. 2, с. 129, 130.

¹⁰ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911, т. 2, с. 27.

рия должна получить высокое значение на основании этого учения», — пронизательно заметил Н. В. Станкевич¹¹.

Примечательно, однако, что на русской почве в процессе формирования философско-исторической мысли в учении Шеллинга воспринимались не столько сверхчувственные идеи и «откровение абсолютного», сколько натурфилософские концепции; шеллингианские доктрины нередко переключались в «антропологический» и психологический план (Д. Велланский, И. С. Камашев, М. Погодин и др.). И это потому, что почва для сверхчувственных, слишком отвлеченных построений в России была мало благоприятной; русская действительность нуждалась в чем-то более осязательном, реальном, практическом. «Состояние русского общества не таково, чтобы членам оною можно было погружаться в хаос мыслей, иногда исполинских, часто остроумных, но бесплодных в приложении. Нам нужны предметы, так сказать, осязательные», — настаивал В. И. Туманский, критикуя орган русских шеллингианцев «Московский вестник»¹². Мысль эта может быть, отнесена и к развитию тогдашней историографии, в которой, в соответствии с общим характером умственной жизни тех лет, постепенно все больше проявлялось стремление перейти от умозрительной, отвлеченной постановки вопросов к изучению конкретного исторического опыта. Сама логика общественного развития, выдвигавшая на очередь дня острейшие вопросы действительности, побуждала переходить от философских проблем истории к конкретным ее темам.

Не растворять историю в философии, а применять общие философские принципы к изучению реальной истории — таково требование времени. В этом плане особенно примечательна эволюция таких русских шеллингианцев, как, например, С. Шевырев, который от умозрительных, чисто философских проблем переходит к самой истории, обращается к историческому методу.

Уже в 1830 г. Шевырев приходит к выводу: «В России... должно бы предпочитать методу историческую, и самую философию, если возможно, заключить в историю»¹³. Позд-

¹¹ Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914, с. 292 (письмо к Я. М. Неврову от 16 октября 1834 г.).

¹² Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889, кн. 2, с. 72.

¹³ Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей (далее: ГПБ), ф. 850. С. Шевырев. Дневник, ед. кр. 17, л. 10 об.

нее он же провозгласит: «Эпоха синтетических умозрений и логических построений должна уступить место ясному и подробному анализу и историческому изучению предметов в них самих, без логических предубеждений, которые туманят зрение. Пора освободиться нам от германской умозрительности и смотреть на предметы своими глазами»¹⁴.

Параллельно с этой общей эволюцией русской философско-исторической мысли конца 1820-х — начала 1830-х гг. акцент в ней все больше передвигался с усвоения шеллингианских концепций на восприятие идей и методов французской исторической школы с ее обостренным интересом к социальной истории и ее конфликтам. Углубление социальных противоречий в жизни русского общества, необходимость понять эти процессы в свете исторического прошлого и в сопоставлении с ходом истории на Западе — все это побуждало обратиться к опыту французских историков эпохи реставрации.

Вопрос об особенностях и принципах французской романтической историографии с конца 20-х гг. начинает приобретать в русском обществе большую актуальность. На страницах журналов все чаще появляются имена Тьерри, Гизо и других деятелей этой школы; печатаются извлечения из их работ и отзывы о них. Идеи и методы новой историографии оказывают влияние на русских историков, публицистов, писателей, людей различных убеждений и взглядов. В спорах, развернувшихся вокруг идей и методов названных историков, по-своему преломлялись соответствующие идеологические расхождения.

Названный круг проблем, в котором, как в тугой узел, сплелись воедино вопросы философии истории, ее методологии и вопросы осмысления истории России, с особой остротой обозначился на рубеже 20-х и 30-х гг. в связи с выходом в свет XII тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина и появлением «Истории русского народа» Н. Полевого. Ожесточенные дискуссии, разгоревшиеся вокруг указанных «Историй», стали важнейшей вехой в духовном развитии общества, в истории русского самосознания. В ходе дискуссий сложились основные концепции русского

¹⁴ Московский наблюдатель, 1836, ч. 7. кн. 2, с. 284. По поводу приведенного высказывания Шевырева исследователь замечает: «...он не отдавал себе ясного отчета, что, освобождаясь от умозрительности, он одновременно освобождается от начал диалектики» (М а н н Ю. Русская философская эстетика. М., 1969, с. 182).

исторического процесса и наметилось то идеологическое размежевание, к которому восходят истоки будущего славянофильства и западничества¹⁵.

Дискуссии эти, явившиеся своеобразной школой философско-исторической мысли, оказали серьезное влияние на развитие русской литературы. Они сыграли также важную роль и в формировании пушкинского историзма.

Философско-историческая проблематика занимала огромное место в раздумьях и в творчестве Пушкина. Именно в 30-е гг. окончательно складывается система пушкинских философско-исторических воззрений, представлявшая собой несомненно наиболее значительное достижение тогдашней русской философско-исторической мысли.

Для понимания глубины и своеобразия пушкинских взглядов их надлежит рассматривать не изолированно, а в процессе становления, на соответствующем историческом фоне. Это необходимо не только потому, что именно на окружающем фоне особенности пушкинской философии истории предстанут в наиболее рельефном виде, но и потому, что лишь такой путь исследования даст возможность выявить подлинный процесс формирования пушкинского исторического мышления, понять его в реальных исторических связях, в соответствующем историческом контексте.

¹⁵ К сожалению, именно данный хронологический рубеж освещен в исследовательской литературе недостаточно. В монографии Ю. З. Янковского «Из истории русской общественной мысли 40—50-х годов XIX столетия» (Киев, 1972) о нем говорится бегло (глава «У истоков»).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НА ПУТИ К НОВОЙ ФИЛОСОФИИ ■ ИСТОРИИ

(Пушкин и Погодин)

Известно, что роль одного из важнейших идеологических и философско-эстетических центров в России после разгрома декабристов выпала на долю любителей, группировавшихся вокруг «Московского вестника». Историческая проблематика занимала исключительно большое место в их теориях и размышлениях. Эволюция любителей — идеологическая, философская, литературная — неотделима от общего движения исторической мысли. Вот почему, стремясь понять процесс формирования пушкинского исторического мышления после 1825 г. в его взаимодействии и связях с ходом философско-исторической мысли в России, мы оказываемся прежде всего перед необходимостью под этим углом зрения рассмотреть соотношения Пушкина с кругом любителей, с эволюцией их исторических и философско-исторических воззрений. Поскольку же речь идет о проблеме формирования исторических принципов Пушкина, то, естественно, что особый интерес должен представить вопрос о соотношении его с такими московскими шеллингианцами, как С. Шевырев и тем более М. Погодин — несомненно крупнейший историк, связанный с кругом любителей.

Между Пушкиным и Погодиным происходило весьма интенсивное общение. Об этом свидетельствует обширная переписка поэта, его замечательная статья о драме Погодина «Марфа Посадница», заметки Пушкина на полях статьи Погодина «Об участии Годунова в убиении царевича Димит-

рия», наконец, богатейший материал погодинского архива, опубликованный в свое время М. А. Цявловским¹.

Поэта связывали с Погодиным в первую очередь исторические интересы. Именно к Погодину обращается Пушкин за помощью в архивных разысканиях, необходимых для его «Истории Петра». Проблемы истории составляли главным предмет оживленных бесед между Пушкиным и Погодиным. Естественно, что взаимоотношения между ними имеют исключительное значение для понимания процесса развития философско-исторической мысли в России интересующего нас периода, а следовательно, и для решения вопроса о пушкинском историзме. Вместе с тем хотя в отношениях между Пушкиным и Погодиным главное место занимали исторические интересы, последние органически переплелись с литературными: ведь в те годы Погодин был не только историком, но одновременно редактором «Московского вестника» и видным писателем — автором широко известных повестей, а также ряда исторических драм.

Таким образом, анализ взаимоотношений Пушкина и Погодина дает возможность показать тесное переплетение исторической и художественной проблематики, столь характерное для русской литературы данного периода, а главное — раскрыть некоторые существенные стороны процесса литературного и идеологического размежевания на рубеже 1820-х и 1830-х гг.

1

Философско-исторические взгляды в среде любомудров опирались преимущественно на немецкую идеалистическую и романтическую философию, в системе которой история занимала совершенно особое место. Во всем окружающем они видели процесс развития, «историю самосознания». История — это тоже «наука наук», как и сама философия, о чем

¹ См. Пушкин по документам погодинского архива. Дневники. — В кн.: Пушкин и его современники. Пг., 1914, вып. 19—20; 1916, вып. 23—24; Пушкин по документам архива М. П. Погодина. Извлечения из писем корреспондентов Погодина. — Лтг. наследство, 1934, № 16—18. Ранее материалы погодинского архива были широко использованы в многотомном издании: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888—1910, т. 1—22. Далее сокращенно: Барсуков. См. также: Тойбин И. М. Пушкин и Погодин. — Учен. зап. Курск. пед. ин-та, 1956, вып. 5.

писал И. Киреевский: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук»².

Не избежал общего влияния немецкой идеалистической философии и М. Погодин³, хотя в целом взгляды его носят явную печать эклектизма. С самого начала в них обнаруживаются противоречивые тенденции. Ранний Погодин — весь в колебаниях. Он критически относится к рационализму. Еще в 1822 г. он записывает в дневнике: «И можно ли положить на разум? Должно покорять его вере»⁴. Но тогда же Погодин приходит к убеждению: цель истории — «научить людей обуздывать страсти», что звучит совсем в духе Карамзина, и этот специфический, достаточно рассудочный морализм останется и впредь одной из характернейших особенностей его воззрений.

Наряду с обращением к идеям немецкой идеалистической философии у Погодина проявлялся также известный интерес и к французской романтической историографии. Погодин высоко оценил «Историю завоевания Англии норманнами» Тьерри. В опубликованной в «Московском вестнике» рецензии он особо подчеркивал, что достоинством автора названного труда является стремление «описать историю покоренного и угнетенного народа»⁵. Впоследствии этот интерес Погодина к доктринам французских историков усилится, хотя одновременно с общей его идеологической эволюцией усвоение им названных доктрин и методов будет сопровождаться не менее активным их переосмыслением.

В целом в вопросах философии истории ранний Погодин исходил все же преимущественно из специфического истолкованного Шеллинга, преломляя другие теории сквозь призму немецкой идеалистической философии. На страницах «Московского вестника» им было опубликовано «Введение в историю» шеллингианца Аста — с целью дать читателям «понятие о точке, с которой новые немецкие ученые смотрят на

² Денница. М., 1830, с. XXII.

³ Общая оценка деятельности М. Погодина дана в работе Г. В. Плеханова «М. Л. Погодин и борьба классов» (Плеханов Г. В., Соч. М. — Л., 1926, т. 23, с. 45—101). Характеристику исторических и философско-исторических взглядов М. Погодина и его современников см. в кн.: Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941; Очерки по истории исторической науки в СССР. М., 1955, т. 1. Обширный фактический материал содержится в методологически устаревшей книге: Милюков П. М. Главные течения русской исторической мысли 3-е изд. СПб., 1913.

⁴ Цит. по: Барсуков, кн. 1, с. 166.

⁵ Московский вестник, 1827, ч. 6, с. 330

историю»⁶. Впрочем, само восприятие Погодиным шеллингианских идей не было глубоким⁷. В немецкой идеалистической философии его привлекли не столько черты диалектики, сколько характерные для нее идеи исторического фатализма.

Именно они оказались в центре наиболее значительного философско-исторического сочинения раннего Погодина — его «Исторических афоризмов». Эти «Афоризмы», выросшие из размышлений об «истории человеческого рода» в духе шеллингианства и печатавшиеся первоначально на страницах «Московского вестника» (в 1827 г.; отдельным изданием они вышли в Москве в 1836 г.), выражали не только философско-исторические взгляды раннего Погодина, но в известной мере и взгляды на исторический процесс, имевшие хождение среди всего круга любомудров. «Исторические афоризмы» были известны и Пушкину. Погодин читал их ему еще до опубликования в «Московском вестнике», о чем свидетельствует запись в дневнике Погодина 28 декабря 1826 г.: «У Пушкина... Читал «Афоризмы». Здесь есть глубокие мысли, сказал Пушкин»⁸.

В центре философско-исторической мысли того времени, в том числе и погодинских «Афоризмов», стояли вопросы о смысле истории; о соотношении свободной воли и исторической необходимости; о том, в какой мере действия и поступки людей могут оказать влияние на ход истории; можно ли познать закономерности исторического процесса с тем, чтобы опереться на них в своей практической деятельности. По существу это были коренные вопросы общественной жизни, выраженные на языке философии истории. За отвлеченными метафизическими формулами скрывалось вполне реальное содержание и определенный идеологический смысл.

В свое время над этими вопросами немало размышляли декабристы, чрезвычайно важной особенностью которых являлось то, что, не порывая в целом с кругом просветительских представлений, они вместе с тем пытались выйти за их пределы, стремясь выявить внутренние связи событий, исторические законы, управляющие жизнью людей. После 1825 г. проблемы эти продолжали оставаться не менее актуальны-

⁶ Московский вестник, 1829, ч. 3, с. 171.

⁷ 9 мая 1825 г. Погодин записывает в дневнике, что «чувствует систему Шеллингову, хотя и не понимает ее» (Барсуков, кн. 1, с. 303).

⁸ Цит. по: Барсуков, кн. 2, с. 64.

ми, но они рассматривались через призму событий 14 декабря, в соответствии с общей переоценкой декабристских теорий, в том числе и их философии истории. Теперь, когда окончательно обнаружилась несостоятельность рационалистических представлений об истории и утвердился взгляд на нее как на закономерный процесс, в котором торжествует историческая необходимость, особую остроту, естественно, приобрел вопрос: как понимать эту историческую необходимость?

Резко усилилась опасность фаталистического ее истолкования — в духе полного отрицания элемента случайности, а вместе с тем роли и значения воли человека, его сознания и стремлений. Идеи фатализма в различных вариантах и оттенках широко проникают в философию, историографию, литературу. В русской историографии 30-х гг. фаталистические идеи дают себя знать и в провиденциальных построениях П. Я. Чаадаева, и во взглядах Н. Полевого, эклектически сочетавшего элементы шеллингианства с методами французских историков, но, пожалуй, наиболее отчетливо — в трудах М. П. Погодина.

Признавая, что в истории все детерминировано и осуществляется независимо от воли и практической деятельности человека, Погодин саму необходимость толкует фаталистически — как неотвратимое исполнение предначертанного, совершенно игнорируя роль человека, его стремления, полностью отвергая категорию случайности. «Пусть односторонние писатели XVIII столетия и их последователи восклицают, что деяниями человеческими управляет случай! — замечает Погодин, имея в виду, конечно, просветителей. — Мы поверим лучше другим мыслителям, которые стараются доказать, что мир нравственный (исторический) подчинен таким же строгим законам, как и мир физический — поверим им, и признаем в сих несчастных явлениях души человеческой необходимые орудия вечных судеб»⁹. То и дело он восклицает: «Так видно должно быть!», «Так должно было!».

Взгляды Погодина на исторический процесс носили явно выраженный телеологический характер: история предстает как осуществление заранее поставленной цели, предварительно составленного плана. Вместе с тем телеологичность оборачивается у него фатализмом; то и другое сливаются воедино. Особенно рельефно философско-истори-

⁹ Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846, с. 269—270.

ческий фатализм раннего Погодина нашел свое выражение в названных выше «Исторических афоризмах», а также в приложенной к ним программной лекции о всеобщей истории. «Внимательно рассматривая великие происшествия, — писал он в «Афоризмах», — видишь, что не одни люди действуют, — напротив, личность человеческая как будто исчезает, и дух какой-то носится и возбуждает»¹⁰.

А в лекции о всеобщей истории: «Следовательно, есть какая-нибудь сила, пусть называют ее как угодно, которою человечество сохраняется... Если человечество сохраняется, то сохраняется для чего-нибудь, то есть имеет цель в себе ли, вне ли. Если оно имеет цель, то к ней необходимо ведет какой-нибудь путь, который должен быть пройден последовательно, от начала до конца, с которого оно совертнется не может»¹¹. Если в истории властвует некий «высший план», железная необходимость, то можно ли постичь ее законы? «Как согласовать существование сих высших законов необходимости, судеб божиих, предопределения, с человеческою свободою?»¹². Погодин считал эту связь непостижимой для человека. Историческая необходимость трактовалась им как слепая и непостижимая сила, как фатальное предопределение¹³.

Фаталистические теории, отстаивавшие точку зрения рокового предопределения, смыкались, как правило, с примиренчеством, проповедью покорности, отречения от личной воли, с мыслью о бессилии изменить существующее, как нечто такое, что заранее предустановлено судьбой; тем самым они лишали человека сознания личной моральной ответственности за свое поведение. Сторонники фаталистических доктрин отвергали возможность познать исторические законы, осмыслить прошлое и настоящее в исторической перспективе, найти подлинные пути к будущему.

Вот почему передовые круги интеллигенции решительно выступали против философии фатализма в любых ее вариантах. «Но кто кует судьбу, как не мы сами... Наш ум, наши страсти, наша воля, — вот созвездие путеводное, вот властители, планета нашего счастья!... Верить фатализму — значит не признавать ни греха, ни добродетели, значит созна-

¹⁰ Погодин М. П. Исторические афоризмы. М., 1836, с. 48.

¹¹ Там же, с. 116.

¹² Там же, с. 123.

¹³ См. в этой связи: Милюков П. М. Главные течения русской исторической мысли, с. 284.

ваться, что мы бездушные игрушки какой-то неведомой нам силы, что мы цветы на потоке жизни как перекасти-поле, носимое по прихоти ветра. Это не моя вера», — заявлял устами героя романа «Вадимов» А. Бестужев-Марлинский¹⁴. «Фаталисты, — писал Белинский, — лишают человека свободной воли, делают его рабом и игрушкой какой-то неотразимой, враждебной и грозной силы и наконец ее жертвою»¹⁵. Проблема эта легла в основу лермонтовской новеллы «Фаталист», замысел которой мог возникнуть лишь в атмосфере напряженных дискуссий и споров по вопросам о соотношении свободной воли и необходимости, обострившихся в кругах мыслящей интеллигенции 1830-х гг.¹⁶

Не только в литературе и публицистике, но, естественно, и в передовой историографии раздалась решительные голоса протеста против чуждых историзму фаталистических теорий. В том же году, когда Погодиным была прочитана лекция о всеобщей истории, в Москве была опубликована книга К. Лебедева «История. Первая часть введения: идея, содержание и форма истории», в центре которой также стояла проблема свободы и необходимости в истории, но решалась она с позиций, чуждых фатализму. К. Лебедев признает, что «пути человечества назначены: оно следует иногда сознательно, иногда бессознательно, иногда вопреки самому себе»¹⁷, но он не может допустить фаталистического толкования этого процесса. «Какое назначение извлечем мы из ее (истории. — И. Т.) повествований, если мы примем, что она не могла не быть, если будем верить в предопределение?» — спрашивает автор. И заключает: «Итак, — предопределение унижительно для разума, безотрадно для сердца и смертоносно для воли. Человек в фаталистической истории является существом жалким, ниже самого последнего животного: он сознает свою судьбу против собственного желания, он действует и не в силах направлять своего действия: он служит, и не знает кому, он живет и не смеет знать для чего» (с. 15—16).

Отвергая решительно фаталистическое понимание исто-

¹⁴ Марлинский А. А. Второе полное собрание сочинений. СПб., 1847, т. 4, ч. 12, с. 51.

¹⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 2, с. 103.

¹⁶ См. Тойбня И. М. К проблематике новеллы Лермонтова «Фаталист». — Учен. зап. Курск. пед. ин-та, 1959, вып. 9.

¹⁷ Лебедев К. История. Первая часть введения: идея, содержание и форма истории. М., 1834, с. 10—11.

ри, Лебедев вместе с тем стоит на позиции детерминизма, признания исторической необходимости, власти исторических законов. «Чем объясним мы судьбу, рок, предназначение, ваше, мое, народа, вселенной?» На этот вопрос он отвечает: «Необходимо должны быть законы исторической жизни». И делает вывод: «История есть представление сознательного действия: следовательно, закон жизни а) есть не фатализм, б) но совершенствование. Преуспевание сего совершенствования зависит от согласия деяний с условиями развития» (с. 19, 32, 33).

Еще до того, как полемика по важнейшим вопросам философии истории — о случайности и необходимости, о фатализме — приняла к середине 30-х гг. такие открытые, обнаженные формы, она, хотя и в ином плане, исподволь намечалась гораздо раньше. Не остался в стороне от нее и Пушкин.

2

Присущий Пушкину глубокий и напряженный интерес к истории, особенно возросший в 30-е гг., относился не только к конкретным ее темам, но и к вопросам методологии, к проблемам теоретического, философско-исторического характера. Пушкин внимательно следил за развитием философско-исторической мысли, за различными ее направлениями и течениями. Примечательно, что в библиотеке поэта находилась знаменитая «Новая наука» Джамбаттисты Вико, одного из основоположников философии истории, изданная в 1827 г. во французском переводе с восторженной статьей Мишле. Как свидетельствуют сохранившиеся на книге пушкинские пометы, поэт проявил к ней живой интерес.

Можно с уверенностью утверждать, что характерный для эпохи в целом процесс сближения истории с философией не прошел бесследно для поэта. Для того чтобы раскрыть внутренние связи и глубинный смысл исторических явлений, их, по словам поэта, необходимо осветить «светильником философии». Пушкин признавал и высоко оценивал положительные стороны немецкой философии, и прежде всего ее стремление к единству. Он настойчиво подчеркивал, что «германская философия» имела в целом «благоприятное влияние», ибо содействовала освобождению от эмпиризма. Но иррационализм и чрезмерная ее отвлеченность не могли удовлетворить поэта. Широко известно его письмо к А. Дельвигу,

в котором он иронически отзывался о русских шеллингианцах, переливающих «из пустого в порожнее». В марте 1827 г. Погодин записал в своем дневнике: «К Пушкину — декламировал против философии, а я не мог возразить и больше молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного»¹⁸. Ясно, что Пушкин, споря с Погодиным, «декламировал» против немецкой идеалистической философии.

В то время как окружение «Московского вестника» отрицательно относилось к наследию просвещения XVIII в., в том числе к Вольтеру, для Пушкина просветительские традиции продолжали сохранять свое значение. Именно Вольтера Пушкин высоко ценил за то, что он «внес светильник философии в темные архивы истории»¹⁹. Само собой разумеется, что Пушкину с его историзмом мышления была уже абсолютно ясна слабость и неисторичность концепций французских просветителей, исходивших в своих построениях из абстрактной, неизменной «человеческой природы» и видевших в истории лишь борьбу разума с предрассудками, истины с ложью, понимавших историю не в качестве закономерного процесса, а как некое нагромождение случайностей. Но для Пушкина были столь же неприемлемы и идеи исторического фатализма, опиравшиеся на теории немецкой идеалистической философии, или специфически интерпретированные доктрины французской романтической историографии, полностью исключавшие из хода истории роль случая и личной воли.

Мировоззрение и творчество зрелого Пушкина проникнуты глубоким историзмом — пониманием закономерности исторического развития, представлением об изменчивости действительности под воздействием исторических сил, исторических законов. Но фаталистическое понимание этого процесса было чуждо Пушкину; он далек от того, чтобы рассматривать исторический закон в отрыве от человека, его страстей и стремлений, как некую слепую враждебную по отношению к нему силу.

Общезвестны пушкинские статьи 1830 г. об «Истории русского народа» Н. Полевого, в которых наряду с замечаниями о своеобразии исторического развития России Пушкин

¹⁸ Пушкин и его современники, вып. 19—20, с. 84.

¹⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1949, т. 13, с. 102. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

изложил также и свои важнейшие мысли философско-исторического порядка. Суждения эти Пушкин связывает с оценкой методологии французских историков и их русских последователей и интерпретаторов.

Идея исторической необходимости, выдвинутая на первый план французскими историками, была объявлена многими критиками выражением фатализма; она истолковывалась в духе отрицания свободной воли человека и его нравственной ответственности. В целом французская историческая школа, хотя ее и называли фаталистической, не была такой. «Понятие необходимости, — пишет Б. Г. Рейзов, — не получает у них подлинно фатального и рокового характера... История есть необходимость, но в то же время и самоопределение»²⁰. И все же фаталистический оттенок в интерпретации необходимости у некоторых деятелей этой школы несомненно сказывался. Так, с точки зрения Гизо, в истории проявляются одновременно два факта: «...с одной стороны то, что в ней есть рокового, недоступного человеческому пониманию и воле; с другой — то, что производится в ней разумом и свободой человека, что он вносит в нее собственную мысль и желаниями»²¹. Вот почему, полемизируя с защитниками фаталистических и телеологических доктрин в России, Пушкин одновременно выступил также и против попыток использования ими трудов французских историков для оправдания указанных взглядов.

Характеризуя систему Гизо, Пушкин в набросках статьи о втором томе «Истории» Н. Полевого писал, что, отбрасывая все «случайное», Гизо стремится выявить в истории главное — закономерный процесс развития. Гизо показывает, что история являет собой не хаотическое нагромождение случайностей, но торжество необходимости. Именно в этом Пушкин усматривает «великое достоинство французского историка» (XI, 127). Разделяя в целом подобные взгляды на исторический процесс, Пушкин вместе с тем решительно отвергает представление об исторической необходимости как фатальной предопределенности, при которой случайности совершенно исключаются и от воли человека ничего не зависит. Он подчеркивает, что в истории можно определить лишь «общий ход вещей», общее направ-

²⁰ Рейзов Б. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956, с. 527.

²¹ Гизо Ф. История цивилизации в Европе. СПб., 1892, с. 192—193.

ление событий, но невозможно «предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения» (XI, 127). Эту мысль Пушкин аргументирует, в частности, тем, что в то время, как оказывалось возможным, например, предсказать «Камеру французских депутатов и могущественное развитие России», никто не был в состоянии предсказать «ни Наполеона, ни Полиньяка» (XI, 127). В представлении Пушкина признание исторической необходимости отнюдь не исключает ни значения личной воли, ни роли случая. Он рассматривает их во взаимосвязи, не отрывая метафизически одно от другого. Возникает вопрос: кого в этих высказываниях имеет в виду Пушкин и с кем он полемизирует?

Бесспорно, здесь речь идет прежде всего о Н. Полевом, по поводу книги которого и написана статья. Напомним, в частности, следующее рассуждение Полевого относительно фатальной исторической предопределенности, взятое из второго тома его «Истории» (т. е. того тома, разбору которого посвящена рассматриваемая нами незаконченная пушкинская статья): «Могло ли быть все это иначе? Никак. Бесполезна и ничтожна была бы история, если бы не показывала нам, что каждое из событий иначе быть не могло»²². Очевидно, именно это высказывание и имел в виду Пушкин, когда писал, выделяя несколько видоизмененную формулировку курсивом: «Не говорите: *иначе нельзя было быть*» (XI, 127).

И все-таки можно определенно утверждать, что полемические высказывания поэта относились не только к Полевому — не в меньшей степени они касались и других сторонников исторического фатализма, в том числе, конечно, Погодина, чье понимание исторической необходимости как роковой предопределенности носило особенно обнаженный характер (например, утверждение Погодина: «Так видно должно быть!»). Взгляды его были хорошо известны Пушкину. Напомним, что в 1829 г. Погодин опубликовал в «Московском вестнике» статью «О характере Иоанна Грозного», которую он читал Пушкину, о чем свидетельствует следующая запись от 4 января 1829 г. в его дневнике: «Прочитал Пушкину и об Иоанне Грозном»²³.

В этой статье Погодин, как уже говорилось, отвергал точку зрения «односторонних писателей XVIII столетия»,

²² Полевой Н. История русского народа. М., 1830, т. 2, с. 284.

²³ Пушкин и его современники, вып. 19—20, с. 93.

будто «деяниями человеческими управляет случай». Но, критикуя просветительские концепции с их верой во всемогущество человеческого разума и случая, он впадал в противоположную крайность, совершенно отбрасывая категорию случайности в истории, полностью отвергая роль в ней человека, его произвольных стремлений и действий. С такой точкой зрения не мог согласиться Пушкин. Его мысль о роли «случая — мощного, мгновенного орудия провидения», высказанная в статье об «Истории» Н. Полевого, была одновременно своеобразным ответом и Погодину.

Учитывая сказанное, в несколько ином плане, чем это принято до сих пор, следует, думается, интерпретировать и пушкинскую заметку о «Графе Нулине», имеющую прямое отношение к рассматриваемой теме. Разъясняя возникновение замысла «Графа Нулина» намерением «пародировать историю и Шекспира...» (XI, 188), Пушкин связывал его с размышлениями над странностями истории, с раздумьями над вопросом: могут ли чисто случайные и совершенно незначительные происшествия являться причинами событий огромного исторического значения? Иначе говоря, речь шла о теории «малых причин», порождающих большие следствия, теории, имевшей широкое распространение, хотя и по-разному истолковывавшейся.

В данном конкретном случае имелась в виду соответствующая интерпретация (в духе названной теории) сюжета, неоднократно обрабатывавшегося древними историками и писателями и положенного в основу шекспировской поэмы «Лукреция»: насилие, совершенное Тарквинием над Лукрецией, явилось будто бы причиной грандиозных последующих событий в истории Рима²⁴. Этот традиционный сюжет дал толчок иному, пародийному, ходу пушкинской мысли. «...Что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию?.. Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Цезарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве,

²⁴ Возможно, что одним из толчков, пробудивших в памяти Пушкина данный исторический эпизод (помимо названной поэмы Шекспира), была публикация в «Соревнователе просвещения и благотворения» за 1820 г. (ч. 9, № 2) отрывка из Римской истории Тита Ливия — «Смерть Лукреции».

в Новоржевском уезде» (XI, 188), — писал Пушкин, объясняя возникновение замысла «Графа Нулина». Выясняется таким образом, что он тесно связан с философско-историческими проблемами — с волновавшими Пушкина размышлениями о роли случайности в истории²⁵. Проблемы эти интересовали поэта не только в период создания «Графа Нулина», но и позднее, когда была написана сама заметка о поэме²⁶.

В то время, когда писалась заметка, т. е. на рубеже 20-х и 30-х гг., для Пушкина была уже, конечно, совершенно очевидной несостоятельность и наивность воззрений тех мыслителей, которые, подобно деятелям «философского века», отводили решающую роль в истории случаю, видя в ней не закономерный процесс, а некое нагромождение случайностей. Пушкин пародирует подобные взгляды на историю. Это несомненно. Но только ли к полемике с просветительской, рационалистической философией истории сводится смысл пушкинской заметки?

Не надо забывать, что само понимание случая применительно к истории имело совершенно различный смысл в рационалистической философии XVIII в. и в новой романтической историографии. Деятели романтической школы рассматривали сам случай лишь в качестве орудия исторической необходимости²⁷. Что же касается сторонников фаталистической философии истории, то в их взглядах для элемента случайности как таковой места в сущности вовсе не оставалось: в истории, полагали они, все предопределено. Такое понимание истории, а соответственно и теории «малых причин», весьма определенно выражено, например, Шатобрианом. В известном «Опыте историческом...» (1797), представлявшем по существу полную ревизию просветительских доктрин, он писал: «Желаете ли допустить судьбу, которая управляет всем, которая находится в последней причине всего и которая производит то, что ежели бы вы оторвали ногу у насекомого, пресмыкающегося в пыли, то тем разрушили бы миры? Предположите на минуту, что происшествие самое

²⁵ См. Эйхенбаум Б. М. О замысле «Графа Нулина». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. М. — Л., 1937, кн. 3.

²⁶ Вопрос о датировке заметки остается спорным. См. Гурдин А. М. Заметки Пушкина о замысле «Графа Нулина». — В кн.: Пушкин и его время. Л., 1962, т. 1.

²⁷ См. об этом: Резнов Б. Г. Французская романтическая историография, с. 433—434.

маловажное последовало бы иначе в Афинах, нежели как оно действительно случилось; что там был человек меньших дарований, или, что сей человек не занимал бы того самого места, например, Епицид был бы вместо Фемистокла? Ксеркс поверг бы Грецию в рабство; пропали бы Сократы, Платоны, Аристотели; хитрый Филипп состарелся бы под бичом своего наставника; Александр умер бы на Котурне, или разбойником, на кресте Тирском; открылись другие позорища — явились на сцене другие государства; Римляне встретили другого рода препятствия: Вселенная тогда изменилась»²⁸.

Но то, что сторонниками исторического фатализма воспринималось вполне серьезно, являясь выражением соответствующих убеждений, — Пушкиным пародируется: рассуждение о «мелких причинах великих последствий» он называет «пошлым» (XI, 431). Таким образом, заметка о «Графе Нулине» органически входит в круг пушкинских высказываний, направленных против теорий исторического фатализма, полностью исключавших элемент случайности из истории и придававших идее исторической необходимости фатальный смысл. Примерно тогда же, когда была набросана эта заметка, в статье об «Истории» Н. Полевого Пушкин, признавая, как мы видели, наличие исторической закономерности, подчеркивал вместе с тем и роль случая в истории. А в отрывке «О сколько нам открытий чудных...» (1829), говоря о процессе человеческого познания, поэт также отводил в нем существенную роль случаю («И Случай, бог изобретатель», III, 464). Наконец, отмечая, что написание «Графа Нулина» неожиданно совпало с событиями 14 декабря («Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря), Пушкин, невольно удивляясь, пишет: «Бывают странные сближения» (XI, 188). «Надо же так случиться» — таков в сущности смысл замечания. В черновиках заметки мы находим: «Сближения случаются», т. е. все-таки поэт поражен моментом случайности — на сей раз уже на материале не Римской истории, а недавнего прошлого.

Суммируя сказанное, мы еще раз убеждаемся в том, что содержание заметки о «Графе Нулине» далеко не исчерпывается полемикой с рационалистической философией истории, что оно связано также и с критикой фаталистических представлений об истории. В заметке оразилась вся слож-

²⁸ Ш а т о б р и а н Г. Опыт исторический... СПб., 1817. ч. 2, с. 84—85.

ность раздумий поэта, сознание им соотносительности и противоречивости исторических явлений.

Примерно тогда же, в конце 20-х гг., в «Путешествии в Арзрум» (в черновой редакции) Пушкин записал: «Здесь воображение поминутно поражено противуречием Случая» («противуречием Судьбы») (VIII, 1043). Отсюда — два взаимосвязанных и переплетающихся в их противоречивом единстве мотива в творчестве поэта зрелого периода: «Таков судьбы закон», «Покорный общему закону, переменился я», — с одной стороны, а с другой — «О мощный властелин судьбы!» В конечном счете Пушкин всегда выявлял силу и роль исторической необходимости, власть исторических законов. Так, например, существование инквизиции он объяснял не просветительно — не заблуждением людей, их неразумием и не случайностью «Инквизиция, — подчеркивал он, — была потребностью века. То, что в ней отвратительно, есть необходимое следствие нравов и духа времени» (XI, 238).

Признание Пушкиным исторической необходимости, существования «общего закона» отнюдь не приводило его к умалению роли человеческой воли. Не случайно поэта так привлекал Петр I — не только как император, но и как воплощение воли и разума человека вообще. В его деятельности он видел «победу человеческой воли над супротивлением стихий» (VIII, 10). Вместе с тем поэт никогда не покидал размышления о превратностях и странностях истории²⁹.

Видя, что через «странное сцепление обстоятельств» в истории прокладывает путь «общий ход вещей», Пушкин был далек от провиденциального, телеологического или фаталистического понимания этого процесса. Он ищет ответы на вопросы в реальной истории, прежде всего в истории народа, в изучении «достоверных событий» и в выяснении их «истинных причин и последствий».

Приведя в статье об «Истории» Н Полевого тезис сторонников телеологических и фаталистических доктрин «иначе нельзя было быть», Пушкин, возражая, указывает, что в таком случае «историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум че-

²⁹ См в этой связи Вацуро В. Э. Пушкинский анекдот о Павле I — В кн. Временник пушкинской комиссии 1972 г. Л., 1974, с. 103—104.

ловеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик...» (XI, 127). Возникает вопрос: является ли упоминание об астрономии и алгебре в связи с историей лишь метафорическим выражением или Пушкин имеет в виду также и более определенные явления в историографии? О ком и о чем здесь идет речь? Разумеется, пушкинские рассуждения тесно связаны с проблемой «алгебраизма» метода Гизо. Но не только Гизо. Нет никакого сомнения, что здесь имеется в виду так называемый математический метод, характерный для ряда философско-исторических систем на Западе, а в 30-х гг. получивший распространение и в России³⁰.

Так, на Западе Шатобриан в противоположность мыслителям, считавшим возможным математическими расчетами предсказывать степень и характер прогресса человеческого разума (например, Кондорсэ), обосновал идею составления математических таблиц, призванных подтвердить его фаталистические представления об истории как игре случая, судьбы, его лессимистическую теорию извечного, бессмысленного круговращения в истории. «Можно бы даже составить таблицу, — писал он, — в которой открылись бы с математической точностью повторные события всех возможных исторических происшествий какого-нибудь народа»³¹.

В русской историографии 20—30-х гг. такая математическая «методология» в наиболее развернутом виде нашла свое выражение в «Исторических афоризмах» Погодина³², которые, как мы помним, он читал и Пушкину. Уже в предисловии к «Афоризмам» Погодин заявляет, что история «имеет свои логарифмы, дифференциалы и таинства, доступные только для посвященных». С его точки зрения в истории, как в математике, действуют свои величины. «Задача исто-

³⁰ Отзвуки «математического метода» проникают в 30-е гг. в некоторые произведения литературы. См., например, повесть А. Вельтмана «Странник» (М., 1831, ч. 2, с. 52, 114). Романтики пытаются применить его к анализу нравственных качеств человека. См. повесть А. В. Тимофеева «Художник» (СПб., 1834, ч. 4, с. 48—49). Отзвуки эти косвенно обнаруживаются и в незавершенном «Вадиме» М. Ю. Лермонтова. Характеризуя волю как «нравственную силу каждого существа», Лермонтов восклицает: «О, если бы волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы!» (Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 6-ти т. М.—Л., 1957, т. 6, с. 94). Подробнее об этом см.: Тойбин И. М. О юношеском творчестве Лермонтова. — Учен. зап. Курск. пед. ин-та, 1967, вып. 32.

³¹ Ш а т о б р и а н Г. Опыт исторический..., ч. 2, с. 267, 269.

³² Об этой стороне взглядов М. Погодина см.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Л., 1931, кн. 2, с. 331—335.

рии: разобрать сии слагаемые, найти их суммы, понять их соответствия, причины, действия, правила, законы, почуять бога»³³. Среди афоризмов Погодина встречается и такой: «В истории идет геометрическая прогрессия. Найдя среднее пропорциональное число, можно предвещать и будущее, как теперь прорекается прошедшее. Вот пример подобный пропорции: если крестовый поход так относится к реформации, то как реформация относится к Z и проч? К. П. : P = = P : Z. — Таким образом можно отыскивать и первый, и второй, и третий, и четвертый члены»³⁴. Все рассуждение в целом ведет к полемически заостренной пушкинской формуле — «провидение не алгебра», а выражения Погодина «предвещать... будущее» и «прорекается прошедшее» заставляют вспомнить также полемическое замечание Пушкина: «Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик».

В Болдинскую осень 1830 г., тогда же, когда набрасывалась статья о втором томе «Истории» Н. Полевого, писалась «История села Горюхина». Пародируя в ней взгляды на историю, развиваемые в историографии тех лет³⁵, Пушкин вкладывает в уста Белкина рассуждение о необходимости «быть судьей, наблюдателем и пророком веков и народов» (VIII, 132; разрядка наша. — *И. Т.*), рассуждение, полемический и иронический смысл которого очевиден: Белкин хочет быть не «угадчиком», но именно «пророком».

3

Наряду с теориями исторического фатализма не менее серьезным препятствием на пути утверждения принципов пушкинского историзма являлся получивший в то время широкое распространение моралистический и абстрактно-психологический подход к истории, к оценке исторических событий и фактов. Такой подход также противоречил подлинной историчности мышления, ибо он основывался на отвлеченных представлениях о неизменной человеческой природе и выводимых из нее столь же отвлеченных представлениях о

³³ Погодин М. Исторические афоризмы, с. 7.

³⁴ Там же, с. 5.

³⁵ Пародия в «Истории села Горюхина», отмечал М. П. Алексеев, была направлена на «некоторые общие нормы исторического исследования» (Алексеев М. П. К «Истории села Горюхина». — В кн.: Пушкин. Статьи и материалы. Одесса, 1926, вып. 2, с. 74).

добродетели и пороке; он делал, следовательно, невозможным постижение закономерностей исторического развития, мешал понять историю как результат действия соответствующих социальных сил, а не моральных или аморальных свойств отдельных личностей.

Отвлеченный морально-психологический подход к поступкам, событиям как раз и составляет одну из характернейших особенностей Погодина — он дает себя знать весьма обнаженно, например, в его художественной прозе. В повестях Погодина социальная характеристика явлений обычно подменяется абстрактно-психологической и моралистической, переводится в некий внеисторический, «антропологический» план. (Примечательно, что среди его повестей мы находим специальный цикл «Психологические явления» — всевозможного рода странности и парадоксы человеческой психологии, рассматриваемой в ее отвлеченном — внесоциальном и внеисторическом плане. Характерны сами заглавия рассказов этого цикла: «Неистовство», «Корыстолюбец», «Любовь», «Возмездие», «Искушение»). Абстрактную, моралистическую в широком смысле этого слова точку зрения Погодин переносит и в область истории, в соответствующем духе трактуя исторические события и сюжеты. Он стремится рассматривать исторические явления, события и поступки людей в отвлеченном морально-психологическом плане. История, говорит Погодин, «представляет целый курс Психологии в лицах»³⁶. Уже в статье «О характере Иоанна Грозного» Погодин склонен объяснять события исторической эпохи преимущественно особенностями личного характера царя. То же мы видим и в объяснении Погодиным отношения Петра I к царевичу Алексею, материалы по делу которого были им опубликованы в 1829 г. в «Московском вестнике».

Своеобразие позиции в рассматриваемом вопросе раннего Погодина и других деятелей, испытавших влияние шеллингианства, состояло в том, что моралистический принцип у них мог получить обоснование в романтической философии, выдвигавшей на первый план абстрактную человеческую личность, в некоем романтическом «антропологизме». Не случайно «Исторические афоризмы» открываются следующим рассуждением, весьма типичным для романтической философии: «История должна из всего рода человеческого

³⁶ Погодин М. Историко-критические отрывки М., 1846, с. 14 («Взгляд на русскую историю», 1832).

сотворить одну единицу, одного человека и представить биографию этого человека через все степени его возраста»³⁷.

Романтическое мышление все уподобляло человеческой индивидуальности, понимаемой, в отличие от просветителей, как «малый мир», «верное изображение вселенной». «Общество человеческое, будучи составлено из человек, отражает в себе те же самые стихии, в тех же самых находится отношениях, в каких каждый человек частно. Общество выражает человека в пространстве, как человек общество во времени», — писал Н. Полевой³⁸. Из подобной формулы, объявлявшей мерилom и критерием отвлеченную, неизменную, человеческую личность, вытекал и соответствующий морализм — морально-психологический принцип оценки событий, поступков, явлений, подменявший социальный и исторический. Сами понятия о добродетелях и пороках выводились из той же человеческой природы и потому оказывались исторически необъяснимыми, неизменными.

Этот морализм, имевший основанием своеобразно интерпретированную романтическую философию, при определенных условиях легко смыкался с официозной «государственной нравственностью», подобно тому, как романтическая идея «народного духа» могла быть приспособлена к теории «официальной народности». При этом формула романтической философии: человек — «малый мир» получала существенно иное толкование и применение: человек — «малое государство»³⁹.

Подмена исторической точки зрения морально-психологической нашла свое выражение, в частности, в подходе Погодина к интерпретации образа Бориса Годунова из одноименной пушкинской драмы, о чем свидетельствует полемически направленная в адрес Пушкина статья «Об участии Годунова в убиении царевича Дмитрия», опубликованная в 1829 г. в «Московском вестнике». Выросшая из бесед и споров, происходивших между Пушкиным и Погодиным, эта статья должна рассматриваться в связи со всем строем философско-исторических взглядов Погодина. Как известно, она вызвала сильную ответную реакцию со стороны Пушкина. В письме к С. Шевыреву от 29 сентября. 1829 г. Погодин

³⁷ Погодин М. Исторические афоризмы, с. 1.

³⁸ Полевой Н. О купеческом звании. М., 1832, с. 5.

³⁹ Там же.

сообщал, что Пушкин «целые два часа протолковал только о моей статье в пользу Бориса»⁴⁰.

Ответом Пушкина явились его многочисленные заметки на полях погодинской статьи. Вполне возможно, что он собирался отвечать и печатно. Во всяком случае споры по затронутым в ней вопросам продолжались с неослабеваемой страстностью и после ее опубликования. «Спорили до хрипу о «Борисе Годунове» с Пушкиным», — записывает Погодин в дневнике 11 февраля 1831 г.⁴¹ И еще через некоторое время (30 апреля 1831 г.): «К Пушкину и с ним четыре битых часа в споре о Борисе. Он просигеуг de roi, а я адвокат»⁴². Сама страстность, с которой каждая из сторон вела полемику, говорит о том, что расхождения имели принципиальный характер. И действительно, существо спора не сводилось, конечно, к выяснению отдельных фактических моментов, на которых строилась пушкинская драма, в том числе лишь к вопросу о причастности Годунова к смерти царевича. Этот спор имел гораздо больший смысл: расхождения касались самих принципов осмысления исторических событий, понимания соотношения категорий, морали и политики.

Для Пушкина моральный аспект событий был не менее важен, чем для его оппонентов. И все же он далек от его абсолютизации, ибо исходным моментом для него служило стремление вскрыть закономерности истории, выявить исторический и политический подтекст событий, смело обнажить аморализм властителей, разрыв между нравственностью и политикой, который открывался в истории. В этой связи уместно напомнить, что, читая «Историю» Карамзина, Пушкин был «поражен тем детским, невинным удивлением, с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как будто для государей это не есть дело весьма обыкновенное»⁴³.

Опровергая в своих заметках на полях статьи доводы Погодина и доказывая, что убийство и казни «есть дело обыкновенное» не только для властителей в прошлом, но и в современной ему действительности, Пушкин не случайно приводит пример из новейшего политического опыта: «А

⁴⁰ Русский архив, 1882, кн. 3, с. 112.

⁴¹ Пушкин и его современники, вып. 23—24, с. 112.

⁴² Там же, с. 113.

⁴³ Записки Дениса Васильевича Давыдова. Лондон—Брюссель, 1863, с. 34.

Наполеон, убийца Энгенского, и когда? ровно 200 лет после Бориса» (XII, 248). Пушкину представляется наивным и вывод Погодина, который, анализируя версию о причастности Бориса к убийству царевича, оперирует не историческим, а формально-юридическими аргументами и «представляет все дело на суд уголовной палаты, по существующим ныне законам», не понимая их относительности и условности. «Это глупость, — замечает Пушкин. — Уголовная Палата не судит мертвых царей по существующим ныне законам. Судит их история; ибо на царей и на мертвых нет иного суда» (XII, 256).

В самом подходе Погодина к историческим событиям сказывалось стремление к отвлеченному морализму, к переключению их в абстрактно-психологический план, чуждый подлинному историзму. Эта подмена исторической точки зрения морально-психологической объясняет нам, почему основное положение погодинской статьи «Об участии Годунова...» могло переключиться с написанной ранее (1825) статьей Ф. Булгарина о X и XI томах карамзинской «Истории»⁴⁴.

В главном позиция Погодина в названной статье оказалась близкой и взглядам Н. Полевого, который откликнулся на появление пушкинской драмы вначале небольшой заметкой, а затем — обстоятельной статьей. Выступая против пушкинского «карамзинизма», Н. Полевой считает, что поэт должен был показать трагедию человека, невинно осужденного историей. «Как мог Пушкин, — пишет Н. Полевой, — не понять поэзии той идеи, что история не смеет утвердительно назвать Бориса цареубийцей. Что недостоверно для истории, то достоверно для поэзии»⁴⁵. В сущности, взгляд этот мало отличается от трактовки Бориса, предлагаемой Погодиным. В письме к С. Шевыреву Погодин писал: «Но вот тебе важнейшее завещание: напиши непременно трагедию «Борис Годунов». Он не виноват в смерти Димитрия: в этом я убежден совершенно... Надо же снять с него опалу, наложенную, кроме веков, Карамзиным и Пушкиным. Представь человека, которого обвинить стеклись все обстоятельства, и он это видит и дрожит уж будущих проклятий»⁴⁶.

Именно эту трактовку Погодин и положил в основу своей драмы о Борисе Годунове, противопоставив ее пушкин-

⁴⁴ См. об этом: Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина. М.—Л., 1953, с. 144, 158.

⁴⁵ Московский телеграф, 1833, № 2, с. 304—305.

⁴⁶ Русский архив, 1882, кн. 3, с. 168.

ской. Мысль о написании такой драмы возникла у Погодина, вероятно, еще в 1826 г., после чтения поэтом «Бориса Годунова» в московских кружках. Она еще более укрепилась к концу 20-х гг. в связи с обострившимися спорами. В августе 1830 г. Погодин заявляет: «Напишу Бориса и положу гири против Карамзина и Пушкина»⁴⁷. Намерение это было осуществлено. В следующем, 1831 г., им была закончена драма «История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове»⁴⁸.

Само заглавие «История в лицах...» по-своему подчеркивает авторскую точку зрения на историю и особенности художественной разработки исторической темы. Определение это отражает не только общий иллюстративный характер произведения, но и путь, по которому автор стремится идти в соответствии со своими философско-историческими взглядами, — путь морализации и психологизации исторических событий. Прошлое раскрывается им не через борьбу социальных сил, а через столкновение добродетельных и порочных лиц. Эта отвлеченная, морально-психологическая трактовка событий сочеталась с переоценкой социальной проблематики пушкинской драмы. Полемика Погодина с Пушкиным идет по всем линиям.

Пушкин смотрит на Бориса, как он сам говорил, прежде всего с «политической точки зрения». У Погодина же в центре оказываются терзания Годунова — невинно оклеветанного человека, его личная, психологическая драма. Клевете, увы, верят: обстоятельство против Бориса. Во всем этом — фатальность судьбы. В пушкинском произведении драма Бориса неотделима от социального фона, от борьбы исторических сил, определяющих характер эпохи. Отсюда — особое значение народных сцен и таких проблем, как крепостническая политика Годунова (отмена Юрьева дня) и т. д. Но именно эти проблемы в погодинской драме совершенно отгесняются. Вообще из целостного содержания пушкинской драмы Погодин искусственно вычленил две темы — психологическую тему Бориса и тему Самозванца и разработал каждую из них в изолированном виде: в одном случае — в драме «История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове», в другом — в драме «История в лицах о Димитрии Самозванце».

Подлинная суть, однако, в том, что за этим фактом тематического «дробления» стоял принципиально иной под-

⁴⁷ Пушкин и его современники, вып. 23—24, с. 108.

⁴⁸ Издана в Москве в 1868 г.

ход к осмыслению прошлого. Вместо картины эпохи «многих мятежей» с ее социальными и историческими конфликтами, возникающей в пушкинском «Борисе Годунове», у Погодина — лишь отдельные психологические эпизоды и ситуации на материале истории.

В пушкинской драме важнейшая роль отведена «мнению народному». Народ является носителем моральной правды, высшего нравственного суда. Он наделен чертами гуманности, нравственной чистоты. В то время, как бояре чинят казни, убивают детей Годунова, — народ «в ужасе молчит». И это молчание таит в себе такое же осуждение, как и завершающее драму его «безмолвие». «Отец был злодей, а детки невинны» — вот мнение представителей народа. В драме Погодина имеет место нечто совершенно иное. Помимо того, что народ в ней не играет сколько-нибудь существенной роли (события разворачиваются лишь во дворце и в домах бояр), в драме заметна тенденция к дискредитации самой идеи народа, стремление извратить его нравственный облик. Там, где у Погодина и появляются представители народа, они наделены бессмысленной жестокостью, начисто лишены чувства гуманности и моральной правды: не бояре, а именно они безжалостно убивают сына Годунова — Федора.

4

Параллельно с пересмотром декабристской философии истории в общественной мысли, публицистике и литературе после 1825 г. заново переосмысливается концепция прошлого России; с новых позиций, в свете недавнего трагического опыта и вставших перед русским обществом идеологических задач, раскрываются прежние исторические темы и сюжеты.

Декабристы, как известно, настойчиво обращались к героическим и вольнолюбивым традициям прошлого, стремясь найти в истории обоснование своим свободолюбивым идеалам⁴⁹; они ставили своей задачей проследить в прошлом борьбу вечевового и самодержавного начал, воспеть «борьбу народов и царей»⁵⁰. Отсюда — их поэтизация Новгорода и

⁴⁹ См. Базанов В. Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика. М., 1953; он же. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М. — Л., 1961; Волк С. Исторические взгляды декабристов. М. — Л., 1958.

⁵⁰ Кюхельбекер В. Стихотворения. Л., 1952, с. 94.

Пскова как очагов славянской вольности и прославление образов Вадима Новгородского и Марфы Борецкой. Новгород и Псков служили примером вечевого уклада, древнерусской свободы, являлись высокими романтическими символами; они воспринимались в ореоле возвышенных легенд.

Эти исторические темы в декабристской литературе и публицистике имели первостепенное значение; они были неразрывно связаны с особенностями идеологической и литературной позиции декабристов в целом, с характерными для них концепциями народности и национальной самобытности. Борьба за народность и самобытность сливалась у декабристов с идеей освобождения страны от тирании самовластия, с их политической борьбой. Проблема народности включала в себя и идею освобождения личности в духе революционного просветительства.

Положение меняется после 14 декабря. Теперь старые темы получают новое освещение. Наиболее решительный пересмотр и переоценка наследия декабристов были сделаны Любомудрами, которые с новых позиций осмыслили также и проблему народности, придав ей иное толкование и иное направление⁵¹. Деятельность Любомудров (шире — окружения «Московского вестника») не однозначна, она включала разные тенденции. Конечно, в условиях жестокой реакции, наступившей после разгрома декабристов, Любомудры объективно явились определенной культурной силой, носителями известной духовной независимости. И все же главное направление их деятельности очевидно — переоценка наследия Просвещения, переключение проблем из плоскости гражданской, политической в плоскость умозрительную, отвлеченную, поиски новой методологии и жизненного смысла на путях философского идеализма. Теперь понятию народности, народного духа придается скорее религиозно-нравственный смысл. С ним все настойчивее связывается идея отречения личности, подчинения и растворения личного начала в некоей «общности».

В деятельности ряда Любомудров романтическая доктрина народности постепенно приобретает явно выраженный славянофильский оттенок, подчас приспособляется к теории официальной народности. Новое и особое значение приобретает проблема государственности. Вопрос о роли и зна-

⁵¹ См. Азадовский М. Фольклоризм Лермонтова. — Лит. наследство, 1941, № 43—44, с. 229.

чении Русского государства как фактора национального единства и развития просвещения, о его месте в мировом историческом процессе в такой форме перед декабристами не стоял. Между тем он превратился в один из центральных вопросов в литературе и общественной мысли последекабрьского времени. Все это, вместе взятое, обусловило и новый характер исторической тематики.

Если у декабристов, стремившихся возвеличить идеи вольности, ведущими историческими темами были темы Новгорода и Пскова, то теперь, начиная со второй половины 20-х гг., в соответствии со сложившейся обстановкой и выдвинутым вопросом государства, важнейшее место в литературе и публицистике приобретает тема Петра I. Обе эти темы (новгородской вольности и Петра I) воспринимаются в их взаимосвязи, рассматриваются в свете событий 14 декабря и получают различные интерпретации.

Наряду с прямым продолжением декабристской трактовки темы вольного Новгорода — в духе традиционной романтической идеализации (А. Одоевский, ранний Лермонтов) в среде любителей, особенно тех, кто все более сближался с официальной идеологией, произошел пересмотр темы — снижение ее праждаевского, героического звучания и политической остроты. Соответственно с этим и теме Петра I они стремились придать характер прославления государственности, осуждения оппозиционности и свободолюбия.

Особая сложность всей этой проблематики заключалась в том, что традиционная декабристская трактовка новгородской вольности носила откровенно романтизированный характер, связанный с поэтической идеализацией, отражала прошлое в духе общих революционно-романтических представлений, недостаточно опиралась на научное исследование фактов, была лишена подлинной историчности. Поражение декабристов, обнаружившее воочию слабость их романтических представлений, в том числе исторических, поставило на очередь дня задачу изучения исторических фактов и нового их осмысления. Это относится и к теме Новгорода и Пскова. На смену романтической идеализации, ореолу легенд приходит стремление раскрыть названную тему по-новому — в духе установления исторической истины. Обнаружилось, однако, что переоценка и пересмотр романтической трактовки темы Новгорода могли иметь различный смысл, заключать разные тенденции. Это сложное перепле-

тение противоречивых тенденций и различных характер «историзма», под знаком которого происходил пересмотр названных тем, становятся особенно наглядными при сопоставлении Пушкина с любомудрами: и Пушкин, и любомудры глубоко интересовались темой Новгорода и Пскова и неоднократно обращались к ней в публицистике, в теоретических работах и художественном творчестве, но характер интерпретации темы, извлекавшиеся выводы и методы ее разработки были у них разными.

К теме Новгорода обращались, как известно, многие любомудры (Д. Веневитинов, С. Шевырев, А. Хомяков), но и в данном случае особенно большой интерес для выявления своеобразия пушкинского историзма представляет в первую очередь, пожалуй, опыт Погодина — и не только потому, что теоретическое освещение исторических проблем сочеталось у него с художественной их разработкой. Ведь именно Погодин выступал как историк, ученый под флагом установления исторической правды, «объективного», научного исследования фактов, т. е. принципов, которые, кажутся бы, наиболее близки пушкинскому историзму. А между тем эта внешняя близость скрывала принципиальное различие позиций писателей. С особой очевидностью выяснилось, что есть историзм и «историзм».

На рубеже 20-х и 30-х гг. Погодиным было написано несколько исторических драм, из которых выделяются «Марфа, Посадница Новгородская» (1830) и «Петр I» (1831). Художественная ценность названных произведений сама по себе невелика: это были пьесы, созданные не столько художником, сколько ученым. Однако произведения эти представляют несомненный интерес для понимания процессов, происходивших в общественной мысли и литературе того времени. Написанные в годы наиболее интенсивного общения с Пушкиным, они помогают не только уточнить позицию поэта по ряду важнейших вопросов русской истории, но и лучше понять характер и особенности пушкинского историзма.

Обе драмы Погодина внутренне соотносятся между собой. Они связаны в сущности единой концепцией русской истории; в них раскрывается закономерный процесс укрепления централизованного государства. В «Марфе Посаднице» это показано на материале истории Новгорода и его присоединения к Московскому государству; во второй драме — на примере подавления Петром I оппозиции, группировавшей-

ся вокруг царевича Алексея. Принципам погодинского историзма с его идеей торжества сверхличной «исторической закономерности» соответствует в этих драмах подчеркнута «объективная», «научная», несколько суховатая манера драматургического повествования, чуждая романтической экзальтации.

Однако внимательное ознакомление с названными драмами — особенно если рассматривать их в свете общей эволюции взглядов Погодина, происходившей весьма интенсивно в годы их написания, — показывает, что под покровом объективности в них явно пробивается определенная идеологическая тенденция, неисторичная в своей основе. Идею «исторической необходимости» Погодин стремился приспособить для доказательства несостоятельности декабристских свободолюбивых идеалов. И если в «Марфе Посаднице» тенденция эта еще скрыта, завуалирована, то в «Петре I» она уже явно обнажена.

«Марфа Посадница» разрабатывает один из вариантов большой и политически острой темы, имевшей значительные традиции в литературе и общественной мысли прошлого, — темы новгородской вольности, борьбы Новгорода за свою независимость и традиции вечевой свободы, в одном случае с чужеземными лорработителями — варягами, с властью Рюрика (образ Вадима Новгородского), в другом — с самодержавием Ивана III (образ Марфы Борецкой). Тема эта раскрывалась в русской литературе либо в плане прославления вечевого строя и героизации его защитников, либо, напротив, недвусмысленного осуждения и дискредитации их («Вадим Новгородский» Княжнина — «Историческое представление из жизни Рюрика» Екатерины II и др.). С самого начала разворачиваются дискуссии по вопросам о том, что представляло собой внутреннее устройство Новгорода, каковы были взаимоотношения Новгорода с князьями, где причины падения республики и т. д.

Большое внимание новгородской теме уделил А. Н. Радищев⁵², который в «Путешествии из Петербурга в Москву» особо подчеркнул, что именно народ являлся в Новгороде сувереном власти. «Новгород имел народное правление, — писал он. — Хотя у них были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких.

⁵² См. об этом: Бернадский В. Н. — А. Н. Радищев об истории великого Новгорода. — Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1958, т. 170.

Народ в собрании своем на вече был истинный государь»⁵³. В противоположность тем дворянским публицистам, которые, стремясь дискредитировать республиканскую форму правления, утверждали, будто новгородская вольность пала в силу якобы присущих вечевому строю внутренних пороков, а не в результате внешнего завоевания, Радищев говорил о торжестве лишь грубой силы самодержавия, о «справе» силы.

Аналогичную постановку вопроса мы находим и в ряде работ других авторов, продолжавших по существу развивать эту концепцию. Так, большой интерес представляет книга «Исторические разговоры о древностях великого Новгорода», автором которой считается Евгений Болховитинов. Особенно примечателен «разговор третий». Следует согласиться с Ю. М. Лотманом, что «разговор третий», включенный в книгу, настолько выделяется среди других своей политической остротой, что авторство Евгения Болховитинова в отношении этого разговора весьма проблематично⁵⁴. Здесь также развивается мысль об исконности народного правления и полном суверенитете Новгородской республики. «Вечевой суд, — говорится в «разговоре», — был собственно **суд народный**. И далее: «Новгородцы не считали себя с прочими наравне подданными великому князю»⁵⁵. Автор полагает, что новгородская вольность не может быть объяснена лишь грамотой Ярослава; он выдвигает такой аргумент: «Славяне издревле привычны были к вольному республиканскому правлению... Еще до пришествия Рюрика, для зашитения себя от варягов, они распространили свою республику союзом со всеми окружающими их народами»⁵⁶. В ответ на мнение, будто причиной падения Новгорода были внутренние мятежи и бунты, свойственные республике, автор заявляет: «Нет! Мятежи в цветущие времена Новгородской республики бывали чаще всего за сохранение вольных прав, и большею частью искореняли только злоупотребление правительствующих властей или хищничества богачей, но не ослабляли общей народной силы»⁵⁷.

⁵³ Радищев А. Н. Избр. соч. М. — Л., 1949, с. 110.

⁵⁴ См. Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. — Учен. зап. Тартуск. ун-та, 1958, вып. 68, с. 147.

⁵⁵ Исторические разговоры о древностях великого Новгорода. М., 1808, с. 52, 53.

⁵⁶ Там же, с. 53—54.

⁵⁷ Там же, с. 66.

Большое место новгородская тема занимала в творчестве и в исторической концепции Карамзина. Он не сомневался в том, что в Новгороде существовала система народоправства. «Новгород, — писал он, — более шести веков слыл в России и в Европе державою народною или республикою, и действительно имел образ демократии: ибо Вече гражданское присваивало себе не только законодательную, но и высшую исполнительную власть». И далее: «Вече властвовало как собрание народа... представляя лицо Новгорода, который именовался Государем»⁵⁸. Признавая историческую необходимость присоединения Новгорода к Московскому государству, Карамзин вместе с тем поэтизировал свободулюбие и мужество новгородцев и, что особенно примечательно, всячески подчеркивал их высокие нравственные качества. В повести «Марфа Посадница» им с явным сочувствием был нарисован возвышенный и героический образ Марфы, предпочитающей смерть унижению, остающейся до конца верной идеалу вольности. Правда, в предисловии автор оговаривал, что «сопротивление новгородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев», что они «сражались за древние свои уставы и права, данные им, отчасти, самими великими князьями, например, Ярославом, утвердителем вольности»⁵⁹.

Сила Карамзина, при всей противоречивости его позиции, в том, что он, не будучи в состоянии дать убедительное толкование многим фактам, связанным с темой Новгорода, что объясняется уровнем тогдашней исторической науки, обнажил глубоко трагический характер исторического конфликта. Этим он бесконечно возвышался над многими современниками, не говоря уже о тех, кто выступал с откровенно консервативными произведениями, посвященными новгородской теме. Так, П. И. Сумароков в пьесе «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (СПб., 1807) осуждает новгородцев и рисует Марфу в резко отрицательном свете. В позднейшей «Новгородской истории», которую П. И. Сумароков написал, будучи новгородским губернатором, он пытался доказать, будто вечевой строй развращал людей, что новгородцы отличались низостью душ, а вече — это лишь буйное «скопище» и только покорение Новгорода привело к тор-

⁵⁸ Карамзин Н. М. История государства Российского. 6-е изд. СПб., 1851, т. 6, с. 131, 132.

⁵⁹ Карамзин Н. М. Избр. соч. М. — Л., 1964, т. I, с. 680.

жеству порядка и законности. Именно трагический аспект исторического конфликта, намеченный Карамзиным, и был в чем-то существенном близок Пушкину, его историзму.

Поэзия гражданского романтизма, особенно расцветшая в годы декабризма, подхватила тему вольного Новгорода, сделала ее одной из центральных, придав ей значение высокого романтического символа, идеала «былой свободы». Эта поэзия восприняла и одновременно обновила художественные традиции Княжнина, Радищева, многих героических страниц Карамзина, патетической трагедии Ф. Ф. Иванова «Марфа Посадница, или Покорение Нового города» (1809), рисующей величавый образ Марфы, не идущей ни на какие компромиссы.

Вместе с тем в литературе начала века намечилась и другая линия в освещении данной темы — сентиментально-романтическое истолкование героев Новгорода. Она нашла отражение, в частности, в творчестве Жуковского, для которого характерно игнорирование и обход политической проблематики темы Новгорода. Образ мужественного и сурового республиканца Вадима под пером Жуковского превращается в мечтателя, наделенного чертами романтического томления и меланхолии (незавершенная повесть «Вадим Новгородский»; в известном отношении и образ Вадима из одноименной баллады, поскольку и он имеет некие точки соприкосновения с новгородской темой: «В великом Новгороде Вадим пленял всех красотою...»).

Разгром декабристов, как уже было сказано, не только не снял с повестки дня проблемы Новгорода, но и сделал ее еще более злободневной и политически острой — ведь она воспринималась сквозь призму трагических событий на Сенатской площади, в свете победы самодержавия над декабристами — преемниками свободолобивых традиций прошлого, над теми, кто осознавал себя наследниками героического духа Вадима Новгородского и Марфы Посадницы.

В исторической науке в это время вновь возникает полемика по вопросу о Новгороде, появляется стремление критически разобраться в традиционной романтической легенде. Под знаком установления исторической истины в консервативных кругах вместе с отрицанием декабристской романтики отбрасываются свободолобивые традиции, осуждаются идеи героики и протеста. Один из наиболее откровенных примеров: книга Н. Н. Муравьева «Исторические исследования

о древностях Новгорода», переизданная в 1828 г. «В истории должен пламенеть светильник истины», — провозглашает в ней автор. Имея в виду романтическую версию о Новгородской вечаевой республике, он пишет: «Оставляю сказкам и романам обольщать воображение своими затеями»⁶⁰. Его главная мысль — никакой героики, возвышенной романтики, величия Новгород в себе не заключал. «Все стены Новгорода, ныне еще существующие, не видели на себе ни единого геройского подвига», новгородцы на самом деле отличались «самохвалством», «слабостью духа»⁶¹. Если учесть, что книга эта была опубликована с посвящением Николаю I, душителю декабристов, то идейный смысл подобной защиты «исторической истины» станет абсолютно ясен.

Наряду с такого рода концепциями, прямо направленными против гражданской традиции в освещении темы Новгорода, в публицистике, историографии и художественной литературе рассматриваемого периода возникают теории, в которых названная тема становится в связь с проблемой выявления специфики русского исторического процесса, сопоставления судеб России и Запада. Сказанное относится, в частности, и к Любомудрам, у которых общая переоценка идеологического наследия декабризма сопровождалась также и пересмотром темы Новгорода. Вот, например, точка зрения по вопросу о Новгороде, которую весьма красноречиво выразил в дневнике 1831 г. С. Шевырев: «Новгород, вероятно, еще призвавши Рюрика, заключил с призванными князьями договор... Ярославовы льготные грамоты, вероятно, были только письменным выражением того же словесного условия. Посему-то замечательно, что новгородцы всегда принимали к себе изгнанных старших в роду: это было вследствие закона, а не мятежнического духа, как объясняет Карамзин». «Итак, — делает вывод С. Шевырев, — новгородская вольность предстанет нам вовсе не такою буйною: новгородцы просто следовали закону, который заключался в договоре их с князьями... Новгородская вольность лучшим образом доказывает, что добровольною уступкою, а не завоеванием основалась Россия, ибо покоренные народы со своими завоевателями договоров не делают, как новгородцы то делали с нашими князьями»⁶².

⁶⁰ Мугавьев Н. Н. Исторические исследования о древностях Новгорода. СПб., 1828, с. 26.

⁶¹ Там же.

⁶² ГПБ, ф. 850. С. Шевырев. Дневник, ед. хр. 17, л. 93.

Приведенная точка зрения С. Шевырева тесно связана с обоснованием славянофильской в своей основе доктрины о противоположности России и Запада, об отсутствии в России почвы для революции (на Западе — завоевание, борьба; в России — призвание, любовное согласие).

Не только в области публицистики и историографии, но и в художественном творчестве Любомудров новгородская тема занимала значительное место. При этом как ни различны оттенки в освещении Любомудрами названной темы, общее направление в их подходе к ней характеризовалось тем, что она переистолковывалась, теряя все больше и больше свое вольнолюбие, героическое содержание.

В творчестве Д. Веневитинова, больше других Любомудров сохранившего связь с вольнолюбивой поэзией декабристов, тема Новгорода раскрывается еще во многом в духе гражданской традиции. Об этом свидетельствует стихотворение «Новгород» (1826), где явственно звучит тоска по былому величию вольного народа. Впрочем и здесь нельзя все же не заметить, что общий трагизм в освещении темы «былой свободы» заметно ослабляется элегической интонацией финальных строк: «Скажи, где эти времена? Они далеко, ах, далеко!»⁶³ (Обратим внимание на это «ах».)

Юношеское стихотворение А. Хомякова «Новград», написанное в начале 1820-х гг., по духу и контрастному противопоставлению прошлого и нынешнего в чем-то предвосхищает веневитиновское (в нем также, кстати, звучит: «Ах, не таков в минувши годы»). В целом же снижение или даже полный отказ от героического характера интерпретации этой темы проявляются в творчестве Любомудров совершенно обнаженно. Образы мужественных тираноборцев превращаются у них — в продолжение традиции Жуковского — в романтических мечтателей, наделенных чертами томления, резиньяции, уныния.

Еще до восстания декабристов, в начале 1820-х гг., А. Хомяков работал над поэмой «Вадим», оставшейся незаконченной⁶⁴. В ней отчетливо ощущается указанная художественная интерпретация темы. В образе Вадима под-

⁶³ Веневитинов Д. В. Полн. собр. стихотворений. Л., 1960, с. 86.

⁶⁴ Опубликована в кн.: Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. См. о ней вступительную статью Б. Ф. Егорова к этому изданию «Поэзия А. С. Хомякова» (с. 7—9). См. также: Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976, с. 90.

черкиваются мотивы печали, уныния, тайной тоски, отвлеченного мечтательства; намечается тема романтической любви Вадима и Ровены, дочери варяжского вождя. Стилистика поэмы явно сентиментально-романтическая («Но ах! терзаемый и гневом и стыдом»; «Но ах! варяга щит...»; «Ах, часто он один!»). Отрывки из этой поэмы были напечатаны в «Московском вестнике» в 1828 г. (№ 18, ч. 11) и в 1829 г. (№ 1); они были выдержаны в целом в элегических тонах.

И уж полностью отказывается от героической, гражданской линии в развитии новгородской темы С. Шевырев. Выше мы привели одно из его высказываний, в котором дана интерпретация темы Новгорода, основанная на отказе от идей протеста и борьбы. В полном соответствии с ним С. Шевырев и в своем художественном творчестве обратился не к гражданской традиции, а к балладному, мечтательному образу Вадима. В 1828—1829 гг. им было написано либретто для оперы «Вадим», основанное на сюжете баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев». (Отрывок из либретто под названием «Песня Гремиславы» был опубликован в «Деннице» на 1830 г.)

Наиболее своеобразным путем среди любомудров в разработке новгородской темы шел М. Погодин — писатель и историк, для творчества и мышления которого, как уже было сказано, романтическая и философская экзальтация, присутствующая любомудрам, была в общем мало свойственна. В «Марфе Посаднице» М. Погодин дал интерпретацию новгородской темы в соответствии с особенностями своих политических, философско-исторических и эстетических воззрений. К образу Марфы Погодин обращался еще до событий 14 декабря 1825 г., но замысел драмы определился в 1826 г. под непосредственным впечатлением от пушкинского «Бориса Годунова» и тех бесед и споров, которые происходили вокруг него.

«Марфа Посадница» являлась частью драматической трилогии, замысел которой сложился в это же время, трилогии, художественно отразившей историческую концепцию Погодина. Уже вскоре после первых чтений Пушкиным «Бориса Годунова» в московских кружках, в сентябре 1826 г., Погодин отметил в дневнике: «Осмелился говорить об трех предметах из Российской истории для трагедии, хотя и жаль было сказать их»⁶⁵. Позднее, когда в связи с возобновившимися

⁶⁵ Пушкин и его современники, вып. 19—20, с. 76.

ся попытками Пушкина добиться напечатания драмы, а затем после ее публикации с новой силой разгорелась полемика о «Борисе Годунове», мысль Погодина о создании драматической трилогии еще более укрепляется «И живо представлялась моя трилогия», — записывает он в 1831 г.⁶⁶ И в другом месте: «А что, не махнуть ли в самом деле прозой трилогию»⁶⁷. На этот замысел возлагал определенные надежды не только сам М. Погодин, но и его окружение. Характерно в этом смысле, например, письмо С. Шевырева к М. Погодину из Рима от 29 июня 1829 г., в котором Шевырев патетически восклицает: «Ах, как бы Трилогию»⁶⁸.

Мысль о трилогии вызревала у Погодина в процессе обсуждения с Пушкиным прежде всего исторических проблем. Заметками об этом пестрят его дневники конца 20-х и начала 30-х гг.: «К Пушкину, об истории и России говорили»⁶⁹; «С лекции к Пушкину, долгий и очень занимательный разговор об русской истории»⁷⁰ и т. д. Можно смело предполагать, что «тремя предметами из Российской истории», тремя периодами, над которыми размышлял Погодин, создавая свою трилогию, были: Новгород и его борьба с Иваном III («Марфа, Посадница Новгородская»), смутное время («История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове»; «История в лицах о Димитрии Самозванце») и эпоха Петра I (трагедия «Петр I»).

Драма «Марфа Посадница» обострила дискуссии по вопросам русского исторического процесса. В дневнике 1830 г. Погодин записывает, что в связи с чтением «Марфы Посадницы» Пушкину у них состоялся «презанимательный разговор о Российской истории». Содержание этого «презанимательного разговора» неизвестно, но некоторое представление о его характере можно составить, суммируя и сопоставляя высказывания, заметки, письма и, наконец, произведения Пушкина и Погодина этого периода.

Хотя образом Марфы Посадницы Погодин заинтересовался еще до событий на Сенатской площади, а замысел драмы определился в 1826 г. — в дни чтений Пушкиным «Бориса Годунова» в московских кружках, непосредственно работа над воплощением замысла проходила в конце

⁶⁶ Пушкин и его современники, вып. 23—24, с. 113

⁶⁷ Там же, с. 116

⁶⁸ ИРЛИ. Отдел рукописей, ф. 26, № 14, л. 27.

⁶⁹ Пушкин и его современники, вып. 19—20, с. 93—94.

⁷⁰ Там же, вып. 23—24, с. 106.

1820-х гг., в обстановке, когда в идеологической и литературной жизни русского общества наблюдалась перепрошивка сил, более интенсивными были эволюция взглядов интеллигенции и процесс ее размежевания. Все это, естественно, не могло не отразиться и на поэзии Погодина. Если в декабре 1825 г., еще не зная о восстании в Петербурге, М. Погодин с явным эмоциональным сочувствием вспоминал о прошлом Новгорода и о Марфе («Боже мой! до какого плачевного состояния дожил Новгород. Марфа! Марфа! Коли бы ты взглянула на него теперь... Вот и святая София, за которую бились новгородцы», — записывает он в дневнике⁷¹), то в конце 1820-х гг., когда шла усиленная работа над драмой, уже совершенно иные впечатления и размышления владели ее автором.

О том, насколько злободневные ассоциации с политическими событиями современности возникали у Погодина, когда он писал свою драму о Новгороде, и о характере этих ассоциаций свидетельствует, например, следующий факт. В связи с посещением Николаем I Москвы и встречей царя с ее жителями, 7 марта 1830 г. Погодин писал о своих чувствах, обращая при этом мысленно к драме: «Волны народа производят впечатление, нужное для Марфы. Увлеченный толпою, навстречу государю. Чувствовал восторг»⁷².

Сам М. П. Погодин так сформулировал в дневнике задачу, которую ставил перед собой в «Марфе Посаднице»: показать «историю Новгорода и уделов и необходимость самодержавия»⁷³. В основу погодинской «Марфы Посадницы» положена концепция, идущая от Карамзина — мысль об исторической необходимости покорения Новгорода. В предисловии к драме Погодин прямо ссылается на него: «Иоанн был достоин сокрушать утлую вольность новгородскую, ибо хотел твердого блага всей России». Сии слова Карамзина положены в основание трагедии»⁷⁴. Однако акценты в погодинской драме по сравнению с карамзинской повестью «Марфа Посадница» смещены — как в идеологическом, так и в художественном отношении. Пушкин в известной своей статье о погодинской драме писал: «Два великих лица представлены были ему (Погодину. — И. Т.) историей: первое Иоанн, уже начертанный

⁷¹ Барсуков, кн. 1, с. 328.

⁷² Барсуков, кн. 3, с. 1.

⁷³ Барсуков, кн. 2, с. 391—392 (запись от 16 ноября 1829 г.).

⁷⁴ Погодин М. Марфа, Посадница Новгородская. М., 1830, с. III—IV.

Карамзиным, во всем его грозном и хладном величии, второе — Новгород, коего черты надлежало угадать» (XI, 181; разрядка наша. — И. Т.).

Следовательно, поскольку образ Иоанна уже был начертан в литературе, то, по мысли Пушкина, в изображении его перед Погодиным самостоятельной задачи не стояло. Другое дело — Новгород. Именно его черты «надлежало угадать». Это значит, что новая и наиболее ответственная задача, которую предстояло самостоятельно решить Погодину, заключалась в воссоздании новгородского «вечевого строя».

И действительно, в характеристике Иоанна Погодин целиком следует за Карамзиным. В драме Погодина Иоанн объясняет положение Новгорода и необходимость его покорения примерно так же, как это мотивировалось и у Карамзина. По словам Иоанна в драме Погодина, Новгород издревле «принадлежал к великому княжению», но, воспользовавшись междоусобицами, новгородцы «похитили» верховную власть князей. Он признает, что у новгородцев были «древние любезные права», но они злоупотребили ими:

Новгород развращенный
Не мог уж их употреблять в пользу
Себе, не мог собою управляться⁷⁵.

Зато в изображении Новгорода особенно заметно то новое, что вносила погодинская драма по сравнению с повестью Карамзина, а также с гражданско-романтической традицией освещения данной темы в целом. В соответствии с названной традицией, образ Новгорода и его вече рисовались слишком суммарно, в обобщенных, идеализированных тонах, как некий цельный романтический символ: на вече царит полное единодушие и единство, все его участники — это величавые витязи и герои, чуждые бытовых, повседневных забот, обычных человеческих слабостей. Погодин же впервые поставил задачу показать Новгород, новгородское вече без идеализации и романтической символики, в их бытовом, реальном виде. Сам он подчеркивал: «Главное действующее лицо — народ»⁷⁶. Именно «народные сцены» драмы больше всего ценил Пушкин. Это неудивительно: здесь наиболее сказалось влияние драматургических принципов

⁷⁵ Погодин М. Марфа, Посадница Новгородская, с. 55.

⁷⁶ Русский архив, 1882, № 6, с. 151.

«Бориса Годунова». По свидетельству Погодина, Пушкин говорил ему: «Я не ждал. Боюсь хвалить вас. Ну, если разовьете характеры также, дойдете до такой высоты, на какой стоят народные сцены. Чудо»⁷⁷.

В сцене «На вечевой площади» возникает картина противоречивого поведения народа, его колебаний, внутренних раздоров; слышатся крики, шум. Это уже отнюдь не благообразные витязи, охваченные единодушным патетическим порывом, как рисовали участников веча прежде. Особенно примечательно поведение женщин. И не случайно, конечно, Пушкин в плане статьи о драме Погодина особо выделяет пункт: «Шекспир. *Народ* (Посадские) Женщины...» (XI, 419).

Да что вы, братцы,
Толкуете! Она всех вас морочит!
И так своим змеиным ульщаньем
Вас привела на край глубокой бездны.
Теперь столкнуть туда еще вас хочет,
А вы, слепцы, и сами гнете спину,
Опомнитесь!

Или:

Ну что, злодейка, победила? Чья
Взяла? — Ну что? Упейся нашей кровью!
Сладка ль она?
Чтоб не было тебе и в аде места!⁷⁸

Это проклятия женщин в адрес Марфы.

Такое изображение веча, полностью снимавшее романтическую дымку, было связано не только с влиянием новых художественных принципов, но с общим взглядом Погодина на прошлое.

В рецензии на книгу Н. Н. Муравьева «Исторические исследования о древностях Новгорода» М. Погодин ставил в заслугу автора отказ его от всякой романтики и героики в изображении Новгорода. А в 1830 г. (т. е. тогда же, когда была закончена «Марфа Посадница») Погодин писал по поводу книги И. Кайданова «Начертание истории государства Российского» (СПб., 1829): «Все ложные понятия, господствовавшие в Российской империи до нашего времени, о какой-то Рюриковой монархии, о каких-то столицах, о каком-то благоустроенном правительстве, о каких-то политических видах и ошибках первых князей полудиких, о каких-то правах на титул великого, о каком-то героизме, о какой-то мудрости, о каком-то гражданском просвеще-

⁷⁷ Пушкин и его современники, вып. 23—24, с. 106.

⁷⁸ Погодин М. Марфа, Посадница Новгородская, с. 86—87, 128.

нии (разрядка наша. — И. Т.), все сказки повторяются без малейшего изменения»⁷⁹. ■

Все дело, однако, в том, что под флагом «реализма», отказа от романтического идеализирования прошлого у Погодина намечается и определенная примирительная тенденция — стремление поставить под сомнение сами по себе идеи героики и свободолюбия (в приведенном выше высказывании Погодин не случайно иронически отзывается о «каком-то героизме», якобы существовавшем в прошлом). Эта линия дает о себе знать и в его изображении Новгорода в «Марфе Посаднице».

Карамзин, признавая неизбежность падения Новгорода, показывал вместе с тем высокий героический и моральный дух его защитников, проводил глубокую мысль о том, что вольность порождает героику и самоотверженность: новгородцы сражались за «честь и вольность». Погодин же под знаком «историзма» несомненно ослабляет эту героическую линию. В определенной мере это сказывается и в образе самой Марфы Посадницы. Конечно, в целом в образе ее сохраняется немало высоких гражданских черт. И все же в кон. : автор заставляет Марфу признать поражение новгородской вольности, примириться с этим. В одной из сцен драмы, опубликованной в журнале «Телескоп», Марфа обращается к новгородцам:

Простите, если привела к вам гибель
И провинилась.. перед.. Софией:
Скажите мой поклон посаднику,
Боярам, жителям, вольным... или невольным,
Мужам всем новгородским, пожелайте
Им счастья.. без Веча, с Иоанном⁸⁰.

Существенное значение в развитии сюжета и раскрытии замысла Погодина, а также для характеристики Марфы имеет образ ее сына — Борецкого, который вступает в сговор с Иоанном III, а затем во время сражения открыто изменяет Новгороду. Выясняется при этом, что мотивом его измены является разочарование в вечевом строе — больше всего он опасается бунта граждан, «гибельного буйства сильной черни»⁸¹. В ответ на вопрос Иоанна, как отнесется Марфа к его поступку, т. е. к измене, Борецкий говорит, что она «посе-

⁷⁹ Барсуков, кн. 3, с. 191.

⁸⁰ Телескоп, 1831, № 1, с. 82—83.

⁸¹ Погодин М. Марфа, Посадница Новгородская, с. 154.

тует», но в конце концов «невольно согласится» с ним. И опять-таки в итоге Марфа при всех ее колебаниях и даже проклятьях в адрес Иоанна жертвенно примиряется. Она говорит, обращаясь к Иоанну:

Приемлю казнь сию; я заслужила
Перед судом твоим сторицей,
Я не рошшу⁸².

Иоанн III, желавший казнить Марфу, дарует ей жизнь за поступок Борецкого — заменяет казнь заточением. Во всем этом дает себя знать определенная авторская тенденция. Разумеется, ею не исчерпывается содержание погодинской драмы, но отрицать наличие в ней тенденции к дегероизации образа Марфы и в целом темы новгородской вольности или не замечать ее, думается, нет оснований⁸³.

Тенденциозность авторского замысла в драме очевидна. Небезынтересны впечатления единомышленника Погодина — С. Шевырева. Ознакомившись с «Марфой Посадницей», он писал ее автору 5 октября 1831 г.: «Мне нравится то, что ты не нагрузил сочинение мыслями о свободе, о которых и не грезили у нас в то время»⁸⁴. В свою очередь сам М. Погодин в письме к С. Шевыреву с неменьшей откровенностью писал: «Если правительство хорошо вникнет в дух моей трагедии, то скажет мне спасибо»⁸⁵. Слова эти мне оставляют сомнений, в каком направлении работала мысль Погодина и как понимал замысел драмы сам ее автор.

Надежда на то, что правительство, «хорошо вникнув», поймет авторское намерение — оправдать авторитетом «исторической необходимости» подавление вечевой свободы, — не замедлила сбыться. Чтение драмы вызвало «величайшее удовольствие» А. Х. Бенкендорфа. Вот что писал он Погодину в 1831 г.: «На просьбу вашу о разрешении выпуска в свет трагедии «Марфа Посадница», которой обнародование приостановлено было до перемены смутных тогдашних обстоятельств, долгом поставляю вас сим уведомить, что ныне, с окончанием помянутых обстоятельств, не представляет

⁸² Погодин М. Марфа, Посадница Новгородская, с. 168.

⁸³ По данному вопросу существуют разные точки зрения. См., в частности: Мейлах Б. Художественное мышление Пушкина как творческий процесс. М. — Л., 1962, с. 130.

⁸⁴ ИРЛИ. (Пушкинский дом). Отдел рукописей, ф. 26, № 14, л. 134.

⁸⁵ Барсуков, кн. 3, с. 31.

ся никаких препятствий пустить в продажу означенную вашу трагедию. Повторяю изъясненное мною в письме моем к цензору Аксакову, что чтение сего произведения вашего доставило мне величайшее удовольствие»⁸⁶. Таким образом, субъективная авторская тенденция интерпретации исторического сюжета о покорении Новгорода совершенно очевидна. Но в том-то и дело, что ею не исчерпывалось объективное содержание драмы, оно оказалось шире, и это лучше всего подтверждается теми оценками, которые дал ей Пушкин.

5

Драма Погодина вызвала, как известно, большой интерес у Пушкина, о чем свидетельствует его переписка, а главное, замечательная статья «О народской драме и драме «Марфа Посадница» — одна из важнейших в критическом наследии поэта. «Марфа Посадница» была использована поэтом как повод для обстоятельного изложения взглядов на пути преобразования театра и создания народной драмы. Пушкин оценивал драму Погодина очень высоко: «Марфа имеет европейское, высокое достоинство... Что за прелесть сцена послон! Как вы поняли русскую дипломатику! А вече? А посадник? А князь Шуйский? А князя удельные? Я вам говорю, что это все достоинства — шекспировского!» (XIII, 128—129).

В драме Погодина Пушкина привлекли те драматургические принципы, которые в чем-то были близки ему, принципы, сложившиеся под несомненным влиянием «Бориса Годунова». «У меня, — писал Погодин к С. Шевыреву по поводу «Марфы Посадницы», — нет ни любви, ни насильственной смерти, ни трех единств. Главное действующее лицо — народ»⁸⁷. Пушкину импонировали черты «шекспиризации» в «Марфе Посаднице»⁸⁸; он особенно выделял в ней народные сцены, характеризовавшиеся известной бытовой достоверностью. Поэт склонен был даже преувеличивать эти достоинства драмы Погодина. Он, справедливо подчеркивает Б. П. Городецкий, «несомненно видел в трагедии Погодина гораздо больше, чем в ней заключалось»⁸⁹. То, что Пушкин преувели-

⁸⁶ Барсуков, кн. 3, с. 358—359.

⁸⁷ Русский архив, 1882, № 6, с. 151.

⁸⁸ См. Левин Ю. Д. Некоторые вопросы шекспиризма Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1974, вып. 7, с. 71—75.

⁸⁹ Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина, с. 98.

чивал достоинства «Марфы Посадницы», выдавая желаемое за осуществленное, хорошо чувствовал и сам Погодин. «Да не слишком он (Пушкин. — И. Т.) воображает сам слушая и как алхимик подкидывает своего золота в реторту», — замечает он в дневнике⁹⁰. Характерно, что Пушкин и Погодин видели в драме разные вещи: именно те моменты погодинской драмы, которые представлялись наиболее важными Пушкину, для самого Погодина были второстепенными. С явным недоумением он сообщал Шевыреву: «Что мне стало казаться общими местами, то ему (Пушкину. — И. Т.) нравится»⁹¹.

Вообще погодинскую драматургию отличает своеобразный эклектизм — сочетание разноречивых элементов. Это дает себя знать и в «Марфе Посаднице». «В самом деле, — записывает Погодин в дневнике 16 ноября 1829 г., — ведь чудеса предпринял я в Марфе. Соединить устройство Французское с частями Немецкими, ужас без любви к смерти, всю историю Новгорода и уделов и необходимость самодержавия»⁹². Однако органического единства этих элементов, подлинного синтеза их в драме не получилось. Черты «шекспиризации» поэтики оказались вне подлинно шекспировского взгляда — в этом суть дела.

Как было сказано, Пушкина в его статье «О народной драме и драме «Марфа Посадница» интересовали преимущественно вопросы драматургического искусства. Тем не менее они не могли совершенно вытеснить те идеологические и методологические проблемы, которые неизбежно возникали при оценке «Марфы Посадницы» и были связаны с характером исторического конфликта, отразившегося в драме, и его освящением. Ведь для Пушкина «Марфа Посадница» — это «вечевая трагедия», произведение, затрагивающее острую декабристскую тему — одновременно историческую и злободневную⁹³. В какой же мере решение названных идеологических проблем в погодинской драме соответствовало позиции самого Пушкина? Иначе говоря: насколько «историзм» драмы Погодина соответствовал пушкинскому?

⁹⁰ Пушкин и его современники, вып. 23—24, с. 107. Небезынтересно, что Белинский склонен был воспринимать отзыв Пушкина о погодинской «Марфе Посаднице» вообще как иронический (см. Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956, т. 6, с. 511, 545).

⁹¹ Русский архив, 1882, № 6, с. 148.

⁹² Цит. по: Барсуков, кн. 2, с. 392.

⁹³ Пушкин писал Погодину из Болдина в ноябре 1830 г.: «Если притом пришлете мне свою вечевую трагедию, то вы будете моим благодетелем» (XIII, 121).

К сожалению, судить об этом на основании оставшейся незаконченной статьи «О народной драме и драме «Марфа Посадница» трудно: критический разбор погодинской драмы обрывается в ней на самом ответственном месте. Причины, по которым Пушкин отказался от продолжения статьи, неизвестны. В научной литературе высказывались различные предположения и догадки. Но при любых условиях нельзя, думается, сбрасывать со счетов и политической остроты возникавших перед Пушкиным проблем. Во всяком случае трудно объяснить лишь чистой случайностью тот факт, что статья обрывается как раз в том месте, где предстояло говорить о новгородском вече, о Марфе. (В одном из планов статьи есть пункт: «Посадница как понял ее Карамзин в своей...» (XI, 419). Несомненно, что имеется в виду повесть Карамзина «Марфа Посадница». Ясно также, что речь идет о сопоставлении изображения Марфы у Карамзина с изображением ее в драме Погодина.)

Покорение Новгорода, в представлении Пушкина, означало торжество реальной исторической необходимости, общегосударственных, общенациональных интересов, ибо оно «утвердило Россию на ее огромном основании». Но укрепление России, русской государственности, было достигнуто ценой отпора «погибающей вольности» (XI, 181) — и в этом состояло объективное трагическое противоречие истории, трагическая коллизия, которую ясно осознавал поэт. Признавая прогрессивность укрепления централизованного государства, поэт вместе с тем был далек от осуждения идеи вольности или попыток использовать историческую тему покорения Новгорода для прославления современной монархической власти. Пушкину важно было вскрыть причинные связи событий, их внутреннюю противоречивость, не теряя при этом из виду исторической перспективы, соотносительности категорий прошлого и настоящего, чувства исторической дистанции. Историзм пушкинского мышления побуждал поэта решительно выступать против искусственных «приноровлений» и «применений» исторических фактов, вырванных из их естественных связей.

Весь этот круг идеологических и методологических вопросов, связанных с погодинской драмой, существенно важен не только сам по себе, но и для понимания процесса формирования историзма, происходившего с особой интенсивностью в литературе и общественной мысли именно на рубеже 20-х и 30-х гг. Позиция Пушкина в отношении указанных проблем,

связанная с выявлением характерных особенностей его историзма, станет еще более ясной, если, не ограничиваясь незавершенной статьей «О народной драме и драме «Марфа Посадница», мы обратимся к другим фактам пушкинского творчества и публицистики этого времени. Но прежде следует ответить на один вопрос, неизбежно возникающий при анализе погодинской драмы и в целом того процесса пересмотра романтической темы новгородской вольности, который происходил во второй половине 20-х гг., после разгрома декабристов. Суть его может быть выражена следующим образом. /

Да, в драме Погодина новгородское вече и образ Марфы нарисованы иначе, чем в романтической литературе, с известной дегероизацией, но разве в этом не сказался подлинный историзм автора, его реализм, его верность историческим фактам? Можно ли видеть в его стремлении опереться на факты проявление тенденциозности? Разве не дороже всего историческая правда? Ответ на этот вопрос принципиально важен для понимания существа различия между историзмом Пушкина и «историзмом» Погодина и группы Любоумров, между подлинным реализмом и его видимостью. Правильный ответ здесь тем более важен, что ведь, как известно, пушкинский историзм в научной литературе подчас рассматривался как примирение с действительностью, как отказ от романтической героики.

Итак, в какой мере ряд мотивов погодинской драмы, принципиально важных в идеологическом отношении для освещения образа Марфы и новгородской темы в целом, опирается на исторические факты? Прежде всего это относится, конечно, к мотиву измены сына Марфы, вступившего в сговор с Иоанном, мотиву, на котором строится важнейшая сюжетная коллизия. Ведь если убрать этот мотив, не будет и сюжета драмы в том виде, в каком он известен. Между тем указанный мотив является вымышленным, историческими фактами он не обоснован. В самом характере вымысла, конечно же, проявилась определенная тенденциозность.

В повести Карамзина Марфа предпочитает смерть на эшафоте, на Вадимовом месте: «Умираю гражданкою новгородской». Это находилось в противоречии с достоверными фактами: на самом деле Марфа Борецкая не была казнена. Погодин больше придерживается фактической достоверности: в его драме Марфа не казнена, а приговорена к заточению

в монастырь, что соответствовало действительности. Однако мотивы, которые выдвигаются Иоанном, заменяющим казнь заточением (измена сына Марфы), — плод субъективного авторского вымысла.

Декабристы идеализировали Новгород, они превращали его в романтический символ, окружали легендами; но при этом, хотя и в противоречии с фактической достоверностью, они выражали существенные грани подлинной исторической правды — дух национальной борьбы, свободолюбия и героики. После разгрома декабристов, как было уже сказано выше, обнаружилось, что пересмотр романтической трактовки темы Новгорода, а шире — декабристского романтизма в целом, происходивший под знаком утверждения принципов историзма, мог иметь различный смысл и осуществляться в разных направлениях. Выяснилось, что нередко одновременно с отрицанием неисторической идеализации Новгорода отбрасывалась, во всяком случае приглушалась, сама идея вольности, отвергалась тема героических, вольнолюбивых традиций русского прошлого, а вместо с тем и идеалы, одушевлявшие декабристов. Тем самым правда отдельных исторических фактов на поверку оборачивалась неправдой по отношению к большой, подлинной истории, ибо оказывалась в противоречии с духом поступательного развития, с идеей преемственности между прошлым и настоящим.

Для Любомудров, для Погодина и его единомышленников «историзм» означал разрыв с декабристской традицией, с наследием гражданского романтизма; для Пушкина же он означал иное — преемственность и обновление: названная традиция не просто отбрасывалась — в «снятом» виде она входила в реалистическое творчество. Эта особенность пушкинской позиции, его историзма наглядно проявилась и в характере интерпретации новгородской темы. Хотя в 1830-е гг. Пушкин не разделял одностороннего, романтически идеализированного понимания древнего Новгорода, но, как справедливо отмечалось, продолжал и в это время сохранять чувство поэтического преклонения «перед свободолюбивыми традициями древней Руси»⁹⁴. Но дело не только в этом.

В отличие от писателей, которые становились на позицию примирения с действительностью и сглаживания ее конфликтов, Пушкин ратует за то, чтобы, рассматривая

⁹⁴ Мейлах Б. Художественное мышление Пушкина как творческий процесс, с. 127.

прошлѳе и настоящее в единстве истории, воспринимать их в реальном свете, видеть их такими, какими они еѳть, со всеми трагическими противоречиями. Для понимания этой особенности пушкинского историзма большой интерес представляет «История села Горюхина», написанная в болдинскую осень 1830 г., тогда же, когда Пушкин обдумывал и «вечевую трагедию» Погодина.

«История села Горюхина» — произведение, при всей гародийности насыщенное чрезвычайно глубоким и сложным подтекстом и полное не столько весѳлого озорства и лукавства, сколько горестных раздумий и душевной боли. Это своеобразнейший ответ Пушкина на споры и дискуссии, разгоревшиеся на рубеже 20-х и 30-х гг., на собственные сомнения и раздумья, за которыми стоял сложный клубок противоречий русской жизни, трагический опыт истории, в том числе и опыт декабрьской катастрофы. «История села Горюхина» — это раздумье Пушкина над реальной русской историей, которую игнорировали консервативные историки и публицисты и односторонне, романтически понимали в декабристских кругах. Декабристы представляли себе прошлое в романтизированном и архаизированном виде, в ореоле красивых легенд о величавой славянокой древности, мудрых новгородских посадниках, храбром Вадиме, героическом вѳче. Да, все это было, но было совершенно иначе — как бы говорит автор «Истории села Горюхина». «Мысль о золотом веке сродни всем народам и доказывает только, что люди никогда недовольны настоящим и, по опыту, имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее цветами своего воображения. Вот что достоверно» (VIII, 137—138). Представить «достоверную», а не идеализированную картину, «проверить» романтические концепции об историческом прошлом реальной беспощадно-правдивой картиной современности — такова одна из задач пушкинской «Истории села Горюхина». Это относится и к «вечевой» теме, отзвуки мотивы которой не случайно настойчиво прослеживаются в повествовании.

О том, что, создавая «Историю села Горюхина», Пушкин раздумывал над историей Новгорода, свидетельствует и тот не объясненный до сих пор факт, что в плане «Истории села Горюхина» находится приписка. «О свобод. Яросл. (VIII, 719; несомненно: «Освободитель Ярослав»). Почему она появилась здесь, какими нитями связана с содержанием

горюхинской «Истории»? Почему вдруг возникает переключка с черновыми вариантами строф «Путешествия Онегина», где, как известно, существенное место занимают исторические реминисценции: «Вадима спор»; «Народ не внемлет Ярославу» (VI, 477).

Ясно, что между содержанием «Истории села Горюхина» и темой древнего Новгорода, новгородского вече (а отсюда — и темой Ярослава, давшего грамоты Новгороду) имеются определенные внутренние связи. Не случайно, повторяем, в самом тексте горюхинской «Истории» мы то и дело встречаем: «вече», «вечевая площадь».

Романтические легенды о «вечевых» порядках, о Новгороде, о героических девах-воительницах — если все это существовало в таком идеализированном виде, как представляет традиция, то как из подобного прошлого выросла реальная горюхинская действительность, горестная и убогая? Пушкин словно говорит: вече, вечевые площади, величавые девы-воительницы (копейщицы) — все это приобретает свой подлинный облик и смысл, если воспринимать их через призму реальной истории, а следовательно и современной жизни России, положения современного крестьянства. «Горюхино... управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемой» (VIII, 138). «Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служившей вечевой площадью: Глаза их были мутны и красны, лица опухли; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе» (VIII, 139). Все здесь примечательно: «граждане» (не потомки ли новгородских и псковских граждан?) на современном реальном «вече» — это зевающие и почесывающиеся «горюхинцы» на дворе «приказной избы».

Но как бы горько-иронически ни переосмыслились здесь декабристские романтически односторонние представления о прошлом, Пушкин продолжает видеть в истории элементы борьбы; он обнажает трагические стороны действительности — отсюда и настойчиво повторяющаяся в плане «Истории» тема бунта горюхинцев, и чувство глубокой авторской боли и горечи, составляющие подтекст всего произведения.

Трезвое и скептическое отношение Пушкина к свойственной декабристам романтической идеализации прошлого, нашедшее своеобразное отражение и в «Истории села Горюхина», одновременно сочеталось в творчестве поэта после 1825 г. с верностью декабристской, возвышенно-героической линии освещения новгородской темы. В этом проявлялся подлин-

ный, глубокий историзм пушкинского мышления, основанный на восприятии реальной диалектики истории. Дело в том, что для Пушкина, повторяем, переоценка декабристской традиции означала вместе с тем ее продолжение и развитие. Для него история — это не только сам по себе древний Новгород. То представление, которое сложилось о Новгороде в сознании декабристов, вдохновлявшихся в своей деятельности идеалами свободы, — это тоже история. Так романтический, легендарный образ Новгорода становился частью изменяющейся реальной истории.

В этой связи особое значение приобретает факт опубликования в 1827 г. отрывка из незавершенной поэмы Пушкина «Вадим», которую он писал еще в южной ссылке, в период общения с В. Ф. Раевским. Как известно, отрывок из поэмы (вместе с несколькими стихотворениями Пушкина) был напечатан в альманахе Б. Федорова «Памятник Отечественных Муз» (СПб., 1827) под названием: «Сон» (отрывок из новгородской повести «Вадим»). В какой мере к этой публикации причастен сам Пушкин — неясно. В научной литературе высказывались различные точки зрения. Возможно, что в какой-то форме Пушкин принимал в ней участие. Вместе с тем известно, что поэт неоднократно выражал свое недовольство публикацией Федорова. Хотя возражения Пушкина непосредственно относились лишь к лицейскому стихотворению «Фавн и Пастушка», они косвенно помогают также понять, что именно не удовлетворяло поэта и в осуществленной Б. Федоровым публикации отрывка поэмы «Вадим».

Как справедливо заметил С. М. Бонди, в центре опубликованного отрывка оказался художественно слабый, мелодраматический эпизод с мертвой девицей⁹⁵. Существенно и другое: указанный эпизод по своему тону и стилю был выдержан в традиции балладного романтизма Жуковского. Вот, например, сцена, изображающая Вадима, вошедшего в «высокую светлицу», сцена, которой заканчивался публикуемый отрывок:

В постеле холодной, под покровом
Девица мертвая лежит.
В нем замер дух и взволновался.
Покров приподымает он,
Глядит: она! — и слабый стон
Сквозь тяжкий сон его раздался..
Она... она... ее черты;

⁹⁵ См. Бонди С. М. Первая песнь поэмы «Вадим». — В кн: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М. — Л., 1941, с. 26.

На персях рану обнажает.
«Она погибла, — восклицает, —
Кто мог?...» и слышит голос: «Ты...»⁹⁶.

Такое изображение (тем более, что им завершался отрывок) накладывало на образ Вадима черты балладного, сентиментально-романтического героя («душа девица», «любовь очей», «милый цвет»). Тем самым публикация Б. Федорова создавала одностороннее представление о пушкинской трактовке Вадима в целом, сближая ее с трактовкой тех писателей, которые переосмысливали образ декабристского героя в аналогичном плане. В этом, думается, коренилась одна из причин, почему Пушкин в том же 1827 г. напечатал в «Московском вестнике» (№ 17) более обширное извлечение под заглавием «Отрывок из неоконченной поэмы», из которого полностью выбросил мелодраматический эпизод с мертвой девицей⁹⁷. Печатаемая отрывок из поэмы о Вадиме в один год с написанием таких стихотворений, как «Арион» и «Во глубине сибирских руд», Пушкин напоминал о декабристских традициях и демонстрировал своеобразие позиции, которую занимал в «Московском вестнике».

Пушкинское освещение новгородской темы в чем-то существенно продолжает оставаться связанным с декабристской традицией. В Болдинскую осень 1830 г., тогда же, когда поэт много размышлял над погодинской «Марфой Посадницей» и когда была написана «История села Горюхина», Пушкин набрасывает статью о втором томе «Истории русского народа» Н. Полевого, в которой опровергает мнение ее автора, уподоблявшего Новгород и Псков западноевропейским городским общинам («Мы заметили сходство истории Новгорода с историей городских общин в разных местах Европы»⁹⁸). Пушкин со всей категоричностью утверждал, что Новгород и Псков были «истинные республики» (XI, 376). Представление о системе правления Новгорода как респу-

⁹⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. М., 1957, т. 4, с. 161.

⁹⁷ Отрывок из поэмы в том же виде, что и в «Московском вестнике», Пушкин напечатал и в «Стихотворениях» 1829 г. Ю. М. Лотман объясняет произведенные поэтом изменения в тексте публикации «Московского вестника» соображениями самозащиты — вынужденной необходимостью нейтрализовать текст в политическом отношении (см. Лотман Ю. М. — П. А. Вяземский и движение декабристов. — Учен. зап. Тартуск. ун-та, 1960, вып. 98, с. 136—139). Такое объяснение имеет свои основания, но оно недостаточно. Нельзя, думается, сбрасывать со счетов и критериев литературно-эстетического порядка.

⁹⁸ Полевой Н. История русского народа. М., 1830, т. 2. с. 73.

бликанской было характерно именно для декабристов, черпавших в этом национально-историческое обоснование своих общественных идеалов⁹⁹.

Наконец, в написанных тогда же строфах из «Путешествия Онегина» Пушкин затрагивает тему древнего Новгорода с его вечевым строем:

Среди равнины полудикой
Он видит Новгород-великой
Смирились площади—среди них
Мятежный колокол утих,
Не¹⁰⁰ бродят тени великанов:
Завоеватель скандинав,
Законодатель Ярослав
С четою грозных Иоаннов
И вокруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней (VI, 496).

(В черновых вариантах встречаем упоминания: «Рюрик... Скандинав», «Вадим», «Народ не внемлет Ярославу», «Мятежный Волхов» и др., VI, 477.)

В приведенной строфе в сжатой форме отмечены основные вехи истории вольного Новгорода, как ее представляли в декабристских кругах. «Завоеватель скандинав» — варяг Рюрик, в борьбе с которым новгородцы во главе с Вадимом отстаивали свою вольность. «Законодатель Ярослав» — за этой строкой — история отношений Новгорода с Ярославом. «Чета грозных Иоаннов» — покорение Новгорода, разгром вечевой республики. Здесь воспоминание о героике прошлого — о «мятежном» вечевом колоколе — явно звучит в декабристском ключе; вся строфа строится на «обнажении контраста между величием прошлого, романтикой «былой свободы» и настоящим. Разумеется, подобный строй мыслей и чувств характерен прежде всего для героя романа, отразившего духовные искания передовой интеллигенции 20-х гг., но несомненно также, что они дороги и автору, передающему эстафету поколений, окрашены его лиризмом. Несколькими позднее, в «Рославлеве», рисуя образ Полины, мужественной и благородной русской женщины, Пушкин также напоминает о героине Новгорода — Марфе Посаднице. Гражданские

⁹⁹ См. показания П. И. Пестеля «История великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей» (Восстание декабристов. М. — Л., 1927, т. 4, с. 91).

¹⁰⁰ Позднее текст прочитан: «Но бродят тени великанов...» (Пушкин. Справочный том. Изд. АН СССР, 1959, с. 49).

и патриотические чувства Полины питаются примерами героического прошлого, в том числе и подвигом Марфы. Возражая тем, кто полагал, будто героизм и патриотические подвиги не могут быть уделом женщин, она с гордостью восклицает: «...а наша Марфа Посадница?» (VIII, 154).

Отмеченные примеры обращения Пушкина к новгородской теме на рубеже 20-х и 30-х гг. помогают не только яснее представить тот контекст, в котором следует читать его статью о погодинской драме. Они имеют и более широкое значение, ибо в своей совокупности дают возможность лучше понять своеобразие пушкинского историзма, его отличие от «историзма» Любомудров, эволюционировавших в сторону славянофильства и официальной народности. Преодолев неисторичность романтического мышления декабристов, Пушкин в главном остался верен их свободолюбивым традициям.

Конфликт между самодержавным государством и формами народного самоуправления, один из вариантов которого был положен в основу погодинской драмы «Марфа Посадница», глубоко волновал Пушкина и позднее. На новом этапе одним из реально-исторических примеров названного конфликта в изображении Пушкина явились взаимоотношения самодержавия и казачества, показанные им в «Истории Пугачева».

Декабристы обращались преимущественно ко времени Новгорода и Пскова, сохраняя при этом романтическую условность предания и не заботясь об исторической точности; Пушкин же стремится отыскать более реальные, исторически достоверные формы народного самоуправления и примеры гражданских свобод. И он находит, в частности, в казачестве те вольности, которые в условно-романтическом, полуполюгендарном плане представлялись декабристам в древнем Новгороде и Пскове. «Совершенное равенство прав; атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений; круги, или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов» (IX, 9), — так характеризуются им «главные черты» управления казачества. Нетрудно заметить сходство многих из этих «главных черт» с вечевым строем Новгорода и Пскова, с формами древнерусской демократии, как их представляли декабристы.

Считая основной причиной пугачевского мятежа «борь-

бу правительства с исконными формами народного самоуправления»¹⁰¹, Пушкин в известной мере рассматривает подавление послепетровским государством казацкой вольницы как продолжение на новом этапе борьбы Иоанна с Новгородом. В «Истории Пугачева», следовательно, затронута проблема, которая на другом историческом материале ставилась и Погодиным в «Марфе Посаднице». Но разрешается она и здесь в соответствии с принципами подлинного историзма. Так же, как и покорение Новгорода Иоанном III, меры, предпринятые Петром I и его преемниками по отношению к казачеству, были исторически необходимы и оправданы, ибо способствовали укреплению общегосударственного единства. Однако и в этом случае Пушкин не сглаживает сложности и противоречивости явлений, трагического их аспекта. Защищая общегосударственные интересы, он сочувственно относится и к идеалу народной вольности.

6

На рубеже 20-х и 30-х гг. общественная мысль в России с особой настойчивостью обращается к образу Петра I, к эпохе великих преобразований, надолго определивших пути исторического развития страны. Петровская эпоха и личность великого преобразователя становятся предметом оживленных дискуссий, пробным камнем для выявления общественно-политической позиции. Как ведущая выдвигается тема Петра и в художественной литературе.

В этот период вопрос о Петре I, об оценке его деятельности занимает важнейшее место в переписке Пушкина и Погодина, а также в их публицистике, исторических трудах, в художественном творчестве. В «Московском вестнике» (1829, ч. 5) Погодин публикует материалы по делу царевича Алексея. Через некоторое время, в 1831 г., он пишет драму «Петр I». Пушкин, как известно, после «Стансов», «Арапа Петра Великого», «Полтавы» приступает к специальному историческому исследованию о Петре и просит Погодина помочь ему в разысканиях архивных материалов¹⁰². Между поэтом и Погодиным происходит весьма оживленный

¹⁰¹ Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина, с. 328.

¹⁰² Пушкину импонировали добросовестность, трудолюбие М. Погодина, его эрудированность. «Очень дельный и честный молодой человек, истинный немец по чистой любви своей к науке, трудолюбию и умеренности», — так характеризовал Пушкин Погодина в письме к П. А. Плетневу от 26 марта 1831 г. (XIII, 158).

обмен мнениями о Петре и петровской эпохе. «Говорили о Петре»; «Письмо Пушкина о Петре», — читаем мы в погодинских дневниках¹⁰³. Пушкин писал, что в связи с вопросом о Петре он «без конца спорит» с Погодиным. Оба они параллельно разрабатывали тему Петра, но истолкование ее, при некоторых общих моментах, шло в целом в различных направлениях.

Сразу же после завершения «Марфы Посадницы» Погодин приступил к написанию драмы «Петр I», которую закончил 24 июня 1831 г.¹⁰⁴ Эта драма была тесно связана с «Марфой Посадницей»: в последней показывалось покорение новгородской республики и утверждалась необходимость самодержавия Иоанна III; в «Петре I» на другом историческом материале продолжается возвеличение абсолютистской власти и оправдывается суровая расправа с внутренней оппозицией. Драма «Петр I» в гораздо большей степени, нежели «Марфа Посадница», тенденциозна и чужда историчности: метод «применений», «аллюзий» здесь предельно обнажен. События прошлого поданы через призму 14 декабря, и вся драма воспринимается как весьма прозрачная апология николаевского режима.

В основу произведения положено своеобразно истолкованное дело царевича Алексея, материалы которого были опубликованы Погодиным еще раньше. В драме рассказывается о подавлении Петром I заговора недовольных, группировавшихся вокруг царевича. В модернизированном облике заговорщиков, в их речах, программе явно проглядывают черты декабристов. Все они то и дело произносят обличительные речи, проникнутые гражданским пафосом. Например, один из заговорщиков — Кикин — восклицает:

Да здравствует святое братство наше!
Да расточатся наши все враги!

Заговорщики готовы на смерть — ради чести и славы.

Вы перебрали все ведь средства,
И видели, что все к кровавой плахе
На виселицу нас оне ведут,
Одно лишь это и легко, и верно,
Одно ведет нас к цели, к чести, к славе¹⁰⁵.

¹⁰³ Пушкин и его современники, вып. 23—24, с. 108, 116.

¹⁰⁴ Первое действие было готово уже в апреле 1831 г. Опубликована драма была лишь в 1873 г. «Отрывок из драматической поэмы» был напечатан в 1831 г.

¹⁰⁵ Погодин М. Петр I. М., 1873, с. 36, 31.

Словно на декабристской сходке, заговорщики обсуждают вопрос, кому быть цареубийцей, и решают его жеребьевкой. Заговорщик Эварлаков патетически восклицает: «Республика, и бей кого захочешь!»¹⁰⁶.

Погодин относится к заговорщикам резко отрицательно. В противоположность им, обрисованным самыми черными красками, решительно осужденным автором, возвеличен и идеализирован Петр I. Погодин прибегает к усиленной психологизации его образа. Он то и дело переключает действие в абстрактно-психологический план, настойчиво акцентируя душевные муки и терзания совести Петра. Петр сентиментален. Обращаясь к Екатерине, он говорит:

Утешь меня. Ах, друг мой,
Как тяжело мне, и грустно и досадно!
Ты заступалась за Алексея
Всегда. Скажи, но можно ли оставить
Его в живых? Я никогда спокоен
Не буду.

Следует весьма характерная ремарка: «Глядя на младенца, Петр плачет»¹⁰⁷.

Стремление Погодина к идеализации Петра дало себя знать и в публикации сборника материалов по делу царевича Алексея в «Московском вестнике». В предисловии к публикации Погодин заявлял: «До сих пор мы слышали бесстрастных иностранцев, которые без доказательств осуждают Петра и даже обвиняют его в казни сына, будто бы умерщвленного в темнице»¹⁰⁸. А в послесловии к изданию драмы 1873 г. сам Погодин признавал: «Петр вышел у меня слишком идеализированным, согласно с моими тогдашними понятиями. Замечу, впрочем, что в трагедии выставлена только одна светлая сторона его». Народ же в изображении автора — это бессмысленная чернь, которой нужно управлять дубиной, не проявляя слабости: «Не будь и слаб: упрямства куже, слабость», — заявляет Петр¹⁰⁹.

Стремясь сильнее подчеркнуть аналогию: Петр I — Николай I, автор вкладывает в уста Петра рассуждения о Польше, характерные для политики Николая I и являющиеся откликом на польские события 1830—1831 гг. Цель и на-

¹⁰⁶ Погодин М. Петр I, с. 116.

¹⁰⁷ Там же, с. 123.

¹⁰⁸ Московский вестник, 1829, ч. 5, с. 7.

¹⁰⁹ Погодин М. Петр I, с. 127.

мерения драмы весьма откровенно разъяснил сам Погодин в письме к С. Шевыреву 31 марта 1832 г.: «Хочу писать Бенкендорфу и объяснить ему, что позволение напечатать «Петра» имело бы государственную пользу. Во-первых, я старался в трагедии оправдать бессмертного нашего преобразователя, которого обвиняют бессмысленные иностранцы и соотечественники, изобразив верно положение его в отношении России. Во-вторых, представляя заговор страшный против Петра, я показываю, как легко самые лучшие меры могут быть злонамеренными людьми растолковываемы в дурную сторону. Мои заговорщики самые отвратительные люди, злодеи для России»¹¹⁰.

Все в этих словах имеет определенный, злободневный смысл: «лучшие меры», которые-де истолковываются в дурную сторону «злонамеренными людьми», — несомненно, жестокая расправа николаевского правительства с декабристами; «заговорщики», «злодеи для России» — участники 14 декабря. Понятно, что «государь остался доволен «Петром»¹¹¹.

Как видим, в драме «Петр I» тенденциозность Погодина сказалась в гораздо большей степени, нежели в «Марфе Посаднице». Поэтому, если последнюю Пушкин еще имел основания воспринимать как «вечевую трагедию», то неудивительно, что «Петр I» оставил его равнодушным — не только, конечно, по причине художественной слабости произведения, но и из-за выраженных в нем взглядов на важнейшие вопросы русской действительности. Об отношении Пушкина к драме можно судить по дневниковым записям Погодина: 3 августа 1831 г. — «Письмо от Пушкина, и ни слова о Петре. . . Неужели не понравился?»; 23 октября 1831 г. — «К Пушкину... Сухое свидание»; 4 ноября 1831 г. — «У Пушкина . . . Вскользь о Петре. . . Но участия живого уж нет»¹¹². Погодин безошибочно почувствовал отношение Пушкина. «Петра я кончил, — писал Погодин к поэту, — а вы не вставили об нем ни слова. Я почел это неблагоприятным знамением. — Теперь он позабыт мною совершенно, совершенно, как будто б и не бывал в голове» (XIV, 207; письмо от 10 августа 1831 г.).

Для понимания того, в каком направлении шло разви-

¹¹⁰ Русский архив, 1882, кн. 3, с. 194.

¹¹¹ Барсуков, кн. 4, с. 13.

¹¹² Пушкин и его современники, вып. 23—24, с. 116, 118.

тие Погодина и его единомышленников, особенно интересна сравнительная характеристика оценок обеих драм — «Марфы Посадницы» и «Петра I», их, если можно так выразиться, динамика. Сам Погодин ценил последнюю драму гораздо выше «Марфы», он писал С. Шевыреву: «Петром я доволен несравненно больше чем «Марфою»¹¹³. Таково было мнение не только Погодина. Н. А. Мельгунов в письме С. Шевыреву от 9 февраля 1832 г. писал: «Первую (драму «Петр I». — И. Т.) я слышал два раза, весьма примечательная вещь, безо всякого сравнения с Марфой»¹¹⁴.

Соотношение пушкинских оценок противоположно. Тенденциозность последней драмы Погодина была слишком очевидной. К тому же стремление к идеализации Петра, игнорирование двойственности и противоречивости его деятельности, откровенное восхваление в нем самодержца — все это, выдвинутое Погодиным в его трактовке образа царя, было неприемлемо для Пушкина.

Высоко оценивая разностороннюю преобразовательную деятельность Петра I, строительство и укрепление им русской государственности, его просветительскую и цивилизаторскую роль, т. е. все, что имело общенациональное значение для прогрессивного развития страны, Пушкин вместе с тем со всей определенностью подчеркивал двойственность Петра, его жестокость и деспотизм. Петр I в представлении Пушкина не только просветитель и строитель государства, мощно двинувший страну вперед, но одновременно и самовластный монарх-деспот. Общеизвестна характеристика этой противоречивости, которую дал Пушкин в незавершенной «Истории Петра»: «Достойна удивления: разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика» (X, 256).

Погодин, как мы видели, стремился раскрыть лишь «одну светлую сторону» Петра. Пушкин же показывает его «оба лика». Он неоднократно говорит о «тиранских указах», «своеволье» и «варварстве» царя (X, 208, 257, 259 и др.).

¹¹³ Русский архив, 1882, кн. 3, с. 194.

¹¹⁴ ГПБ, ф. 850 С. Шевырев. Письма Н. А. Мельгунова к С. Шевыреву, ед. хр. 370, л. 14.

Сила и глубина исторического мышления Пушкина заключалась в том, что обе стороны в деятельности Петра он рассматривал в их противоречивом единстве, не отрывая одну от другой. Отвратительная жестокость средств, «варварство», к которому прибегал Петр I, не закрывали для Пушкина главного в его деятельности, ее исторического смысла — того, что было по словам поэта, предназначено для «вечности», для «будущего». Поэтому в письме к Погодину Пушкин прямо заявил: «Пишите Петра, не бойтесь его дубинки. В его время вы были бы один из его помощников» (XIV, 185).

Пушкин выступал против приукрашивания, идеализации истории. Он требовал показывать всю ее суровую и трагическую правду. Как бы много ни было ужасного и кровавого в истории, он призывал видеть в ней ее главную тенденцию, поступательный ход, устремленность в будущее. Это относится и к петровскому времени.

За спорами о Петре и о Новгороде скрывалось различное понимание роли государства, исторических судеб народа и страны. Отдельные точки соприкосновения, обнаружившиеся в постановке этих проблем между Пушкиным и кругом «Московского вестника», не могли скрыть принципиальных расхождений, и прежде всего с тем крылом любомудров (Погодин, Шевырев), которое явственно двигалось в сторону идеологии «официальной народности». Проблема государственности и вопрос о соотношении государственного и народного начал занимали огромное место в творческом сознании Пушкина 1830-х гг. «Государственные мысли историка» глубоко волнуют поэта, преодолевшего как романтическую идеализацию «былой свободы», новгородской вольности, свойственную декабристам, так и односторонность взглядов московских шеллингианцев, противопоставлявших «истории законодательных систем и форм государственного устройства» познание иррационального «народного духа», «бессознательного и стихийного процесса народной жизни»¹¹⁵.

В том то и сказался глубокий историзм Пушкина, что стремление выяснить значение государственности в истории национальной жизни и международных отношений ни в коей мере не означало для него ни отказа от идей раскрепощения народа, ни игнорирования роли народных масс в истори-

¹¹⁵ Орлов Вл. Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х гг. Л., 1934, с. 54.

ческом процессе, ни сведения различных форм государственного управления к самодержавию. Пушкин рассматривает понятия «народ» и «государство» во всей их сложности, единстве и противоречивости, в их реальных исторических взаимоотношениях.

Размышления о государстве и его роли никогда не заслуживали раздумий поэта о народе и его судьбе. В сознании Пушкина проблема государственности не подменяла главного — вопроса о «судьбе человеческой, судьбе народной». По существу сами формы государственности и законодательных систем Пушкин стремился понять исторически, исходя при этом из идеи народных интересов как высших. Еще в официальной записке «О народном воспитании» Пушкин, отталкиваясь от доктрин Монтезкье, говорил о том, что именно «дух народов» является источником «нужд и требований государственных» (Николай I поставил в этом месте три вопросительных знака)¹¹⁶.

Судьба народная всегда оставалась для Пушкина центральной и основополагающей проблемой, в зависимости от которой находился и вопрос о формах государственности. Вспомним, сколько горечи и скепсиса содержится в пушкинских размышлениях: «Чем кончится дворянство в республиках? Аристократическим правлением. А в государствах? рабством народа. а=б» (XII, 206). Не менее красноречивые, полные горечи раздумья находим и в «Истории села Горюхина». Меняются «политические системы» в Горюхине, а положение мужика остается прежним. Здесь в сущности звучит свое «а=б», ибо итогом всех этих «политических систем» и «образов правления» остается «рабство народа».

Сознание противоречивой сущности дворянского государства, все обостряющегося конфликта между ним и народом, нарастания социальных антагонизмов лежит в основе творчества Пушкина 1830-х гг. «История села Горюхина», «Дубровский», «История Пугачева», «Капитанская дочка» — «Медный всадник», «История Петра» — вот две главные перекрещивающиеся в нем линии. Пугачев и Петр I — вот два образа, символизирующие народное и государственное начала, к которым приковано внимание Пушкина этого периода.

¹¹⁶ Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889, т. 2, с. 244.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОБЛЕМА СВОЕОБРАЗИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ РОССИИ

1

В кругу проблем, которые особенно выдвинулись в духовной жизни русского общества после разгрома декабристов, исключительное значение приобрела проблема своеобразия исторических судеб России, ее места в мировом историческом процессе.

«Чем отличается Российская история от прочих европейских и азиатских историй?»¹. Вопросы этого Карамзин в «Истории государства Российского» не ставил; между тем именно он оказался теперь узловым, явился своеобразным оселком, на котором раскрывалась идеологическая позиция и характер исторической методологии различных кругов мыслящей интеллигенции.

Каковы особенности русской истории?² Принадлежит ли Россия по типу исторического развития к Западу или к Востоку?³

¹ Погодин М. Заметка по поводу статьи Арцыбашева. — Московский вестник, 1828, ч. 112, с. 189.

² «Я думаю, что первым писателем в России был бы теперь тот, кто бы вернее показал назначение русского в ряду других народов. Если бы я был Академиком или Университетом, я предложил бы эту задачу. Решение этой задачи имело бы удивительно быстрое влияние на ход образования нашего», — писал С. Шевырев в 1830 г. к А. В. Веневитинову. (Барсуков, кн. 3, с. 73).

³ Понятно, что имелись в виду категории не географические, а философско-исторические, социально-политические, культурно-исторические. Несомненно также, что категории эти не абсолютны, а относительны и условны: речь должна идти о конкретном содержании, которое они приобрели в отмеченных дискуссиях. См. в этой связи: Бурсов Б. Национальное своеобразие русской литературы. 2-е изд. Л.,

Весь этот комплекс вопросов стал в центре дискуссий, разгоревшихся на рубеже 1820-х и 1830-гг. в связи с выходом XII тома «Истории» Карамзина и «Истории русского народа» Н. Полевого, дискуссий, явившихся важной вехой в духовном развитии общества, в истории русского самосознания.

Ни Карамзин, ни декабристы не выделяли еще специально проблемы своеобразия русской истории, несмотря на то что и у них можно встретить отдельные высказывания и замечания, представляющие значительный интерес. Так, Карамзин считал, что русский национальный характер является в основе своей европейским, начало европейское в нем преобладает. «Россияне вышли из-под ига (татарского. — И. Т.) более с европейским, нежели азиатским характером, — писал он. — Европа нас не узнала: но для того, что она в сии 250 лет изменилась, а мы остались как были»⁴. Карамзин не отрицал наличия в русском характере восточных элементов, но не считал их определяющими. Он писал: «Древний характер славян являл в себе нечто азиатское; являет и донныне: ибо они, вероятно, после других европейцев удалились от Востока, коренного отечества народов»⁵.

В сознании многих декабристов с влиянием «восточных» понятий связывались традиции рабства, унижения личности. На вопрос: «Почему... зло... не кончилось с владычеством татар?» в «Любопытном разговоре» Н. Муравьева следует ответ: Предания рабства и понятия восточные послужили их оружием и причинили еще более зла России. Народ, сносивший терпеливо иго Батыя и Суртана, сносил таким же образом и власть князей московских, подражавших во всем

1967; Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1966; Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 2-е изд. Л., 1971; Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1976. О проблеме «Россия и Запад» см. в кн.: Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей, Л., 1977, с. 44—62; Коуге А. La philosophie et le problème national en Russie au début du XIX siècle. Paris 1929; Christoff P. K. The Third Heart. Some Intellectual-ideological Currents Cross Currents in Russia. 1800—1830. The Hague—Paris, 1970. О позиции Пушкина см. Тойбин И. М. Пушкин и проблема своеобразия исторических судеб России в дискуссиях конца 1820-х — начала 1830-х годов. — В кн.: Проблемы историзма в художественной литературе. Курск, 1975 (Науч. труды Курск. пед. ин-та, т. 41).

⁴ Карамзин Н. М. История государства Российского. 3-е изд. СПб., 1830, т. 5, с. 442.

⁵ Там же, с. 443.

сим тиранам»⁶. В утопии «Европейские письма» В. Кюхельбекер рассматривает будущее народов, в том числе и русского, в свете европеизации, революционных преобразований, торжества идей просвещения. С другой стороны, известна их борьба за национальную самобытность и народность, против слепого подражания.

На рубеже 20-х и 30-х гг., в гуще споров, отражавших состояние идеологического перепутья, наметились различные направления в решении проблемы своеобразия русской истории, соотношения России и Запада. Одно из них — Н. Полевого, лишенное какой-либо оригинальности. С точки зрения Н. Полевого русская история совершенно тождественна истории западноевропейских стран. Он механически переносит на нее формулы французских историков, целиком принимает основные элементы их доктрины — теорию завоевания, их концепцию феодализма и борьбы городов. Все это находит он и в России. В русской истории, как и в западноевропейской, Полевой видит последствия завоевания, но только на Западе оно происходило хронологически раньше. Вот почему «от одинаких событий явились следствия различные»⁷. Междоусобные княжеские войны для него совершенно аналогичны феодальным войнам на Западе: «Собразите историю феодализма, и вы изумитесь сходству ее с историей уделов русских». История Новгорода для него совершенно тождественна истории вольных городов на Западе: «Мы заметили сходство истории Новгорода с историей городских общин в разных местах Европы»⁸. При этом Полевой отсылает читателя к сочинению Тьерри «Lettre sur l'histoire de France», где дана соответствующая характеристика процесса освобождения городов.

За этим стремлением отождествить историю России с историей Запада и применить к ней формулы французской исторической школы скрывалась несомненно определенная идеологическая позиция Н. Полевого, ратовавшего за путь буржуазного развития России и выдвигавшего в качестве но-

⁶ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951, т. 1, с. 332. Впрочем, в «Сне» Улыбышева мы встречаем такое замечание: «Проходя по городу, я был поражен костюмами жителей. Они соединяли европейское изящество с азиатским величием, и при внимательном рассмотрении я узнал русский кафтан с некоторыми изменениями» (там же, 290).

⁷ Полевой Н. История русского народа. М., 1830, т. 2, с. 18.

⁸ Там же, с. 73.

вой исторической силы, в противоположность дворянству, третье сословие — русское купечество⁹.

Проблема соотношения России и Запада получает в эти годы и иные решения. П. Я. Чаадаев в своих «Философических письмах» выдвинул полную скорби и трагизма концепцию, по-своему также одностороннюю и далекую от реальной картины исторического процесса. С точки зрения Чаадаева, Россия не принадлежала ни к Западу, ни к Востоку; она находилась в полном отрыве от всемирного движения человечества, по существу не участвовала в историческом процессе: «Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода, мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода». Находясь вне духовной связи с европейской историей, Россия, полагает Чаадаев, оказалась обособленной и от «всемирного движения человечества»; она лишена подлинно живой исторической традиции. «Окиньте взглядом, — писал он, — все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно гозорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя»¹⁰.

Своеобразной была позиция раннего И. Киреевского, который в статье «Деятнадцатый век» («Европеец», 1832), стремясь выявить сложные соотношения между Россией и Западом, указывает на то, что, в отличие от западноевропейских стран, в России не было элемента классического, греко-римского мира. Он писал: «От самого падения Римской империи

⁹ Впрочем, позиция Н. Полевого была достаточно сложна. Г. В. Плеханов не без основания отмечал в его исторических взглядах наличие «византийской канвы», по которой не так уж трудно было бы «вышить пышный узор во вкусе самой официальной народности» (Плеханов Г. В. Соч. М. — Л., 1926, т. 23, с. 64). О позиции Н. Полевого см.: Орлов В. Николай Полевой, литератор тридцатых годов. — В кн.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934; Куприянова Е. Н. — Н. А. и К. А. Полевые. — В кн.: История русской критики. М. — Л., 1958, т. 1. Характеристику исторических взглядов Н. А. Полевого и М. П. Погодина см. в кн.: Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955, т. 1.

¹⁰ Чаадаев П. Я. Соч. и письма. М., 1914, т. 2, с. 109, 111, 112.

до наших времен просвещение Европы представляется нам в постепенном развитии и непрерывной последовательности. Каждая эпоха обуславливается предыдущей, и всегда прежняя заключает в себе семена будущей, так что в каждой из них являются те же стихии, но в полнейшем развитии. Стихии эти можно подвести к трем началам: 1-е, влияние христианской религии; 2-е, характер, образованность и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю; 3-е, остатки древнего мира. Из этих трех начал развилась вся история новейшей Европы. Которого же из них недоставало нам, или что имели мы лишнего? Еще прежде десятого века имели мы христианскую религию; были у нас и варвары и, вероятно, те же, которые разрушили Римскую империю; но классического древнего мира недоставало нашему развитию..»¹¹.

В целом И. Киреевский в этот период еще отстаивает европеизацию России. Позицию его Ю. В. Манн характеризует следующим образом: «..вся деятельность И. Киреевского до середины 30-х годов, все его просветительские планы, которые он было начал осуществлять изданием «Европейца», одухотворены недвусмысленной, подчас довольно резкой критикой российских порядков, стремлением к европеизации страны, неприятием рутины и косности, под какими бы псевдопатриотическими обличьями они ни выступали ..» В подтверждение своей мысли исследователь приводит, в частности, слова Киреевского из статьи «Девятнадцатый век»: «...у нас искать национального, значит искать необразованного; развивать его за счет Европейских нововведений, значит изгонять просвещение»¹². И все-таки, посылка Киреевского об отсутствии в истории России присущего Европе элемента классического мира открывала возможность для разных выводов, могла по-разному интерпретироваться.

Хотя процесс просвещения, считает И. Киреевский, включает Россию в состав европейских обществ, все же европеизация для нее не является в полной мере органичной: «Недавно начавшееся просвещение, включающее нас в сос-

¹¹ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911, т. 1, с. 98. Э. Мюллер отметил, что представление И. Киреевского о трех началах, составивших европейскую цивилизацию, опиралось на концепцию Гизо: «.Киреевский обязан Гизо в конструировании трехчленного принципа европейской цивилизации» (цит по кн: Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976, с. 62).

¹² Манн Ю. Иван Киреевский — Вопросы литературы, 1965, № 11, с. 132.

тав Европейских обществ, не было плодом нашей прежней жизни, необходимым следствием нашего внутреннего развития; оно пришло к нам извне, и частью даже насильственно, так что внешняя форма его до сих пор еще находится в противоречии с формой нашей национальности»¹³. И прав, думается, В. И. Кулешов, который процитировал вопрос, сформулированный И. Киреевским в названной статье («Изнутри ли собственной жизни должны мы заимствовать просвещение свое или получить его из Европы? И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни?»), отмечает, что уже в самом предполагаемом характере ответа критика содержалась тенденция противопоставления России и Запада¹⁴.

Представление о полной противоположности исторических путей России и западноевропейских стран, о «восточной» сущности России, в основе своей славянофильское, раньше всех и наиболее определенно обосновали в эти годы М. Погодин и С. Шевырев, которые, как это убедительно показал Г. В. Плеханов, отталкиваясь от теорий французских историков-социологов, применяли их к русской действительности в чисто отрицательном значении. Тезису о завоевании был противопоставлен тезис о добровольном призвании, идея борьбы сословий — идея патриархального единения и согласия¹⁵.

Заслуга Любомудров, в том числе Погодина и Шевырева, заключалась в их стремлении выявить своеобразие России, ее исторических судеб. Вместе с тем у них рано намечилась тенденция к абсолютизации идеи самобытности, к противопоставлению России и Запада. Уже в 1832 г. в лекции М. Погодина «Взгляд на русскую историю» совершенно отчетливо была сформулирована концепция, основанная на полном противопоставлении истории России истории западноевропейских стран: «Все европейские государства, как бы в исполнение одного высшего закона, основаны одинаковым образом: все составились из победителей и побежденных, пришельцев и туземцев». В России же иное: «К нам пришли варяги, но добровольно избранные... не как западные победители и завоеватели — первое существенное отличие в зерне, семени Русского государства, сравнительно с прочи-

¹³ Киреевский И. В. Полн. собр. соч., т. 1, с. 97.

¹⁴ Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература, с. 58.

¹⁵ См. Плеханов Г. В. — М. П. Погодин и борьба классов. — Соч. М. — Л., 1926, т. 23, с. 45—101.

ми Европейскими». Указывается и на другие отличия — отсутствие феодализма и рыцарства, процесса освобождения городов: «У нас не было укрепленных замков, наши города основаны другим образом»¹⁶.

Точка зрения И. Киреевского, выраженная в статье «Девятнадцатый век», вызывает недовольство М. Погодина, поскольку она недостаточно резко противопоставляет исторические судьбы России и Запада. «Киреевский, — восклицает Погодин, — меряет Россию на какой-то европейский аршин, я говорю в смысле историческом, а это — ошибка... Россия есть особый мир, у ней другая земля, кровь, религия, основания, словом — другая история... Черт возьми! Россия особый мир»¹⁷.

Признание России страной «восточной» призвано было оправдать медленность ее развития: «Русская история шла иначе, нежели история прочих европейских государств. Покажите это иначе, и причины этого иначе; но не толкуйте о замедлении и об ускорении»¹⁸.

Еще до того, как основные положения этой исторической доктрины были публично изложены М. Погодиным в лекции 1832 г., она постепенно выкристаллизовывалась в переписке, в беседах с окружающими, особенно с Шевыревым¹⁹. Этот начальный, скрытый период постепенного формирования доктрины представляет во многих отношениях особый интерес.

Исключительное значение приобретают поэтому письма и дневники С. Шевырева, дающие возможность проследить процесс зарождения ранних, славянофильских в своей сущности идей, тем более, что некоторые из них первоначально выдвигаются именно им. Кроме того, целый ряд положений, связанных с проблемой национальной характер-

¹⁶ Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846, с. 5, 6, 8.

¹⁷ Русский архив, 1882, кн. 3, с. 195 (письмо к С. Шевыреву от 14 марта 1832 г.). В том же письме Погодин продолжает: «Всей Европы надежда должна быть на Россию; а эти крикуны и болтуны в парламентах и палатах спращают детей Россию, как пугалом».

¹⁸ Барсуков, кн. 4, с. 62.

¹⁹ Характеристике С. П. Шевырева посвящены интересные, хотя и спорные по своим выводам работы М. Аронсона, основанные во многом на архивных материалах (см. Аронсон М. Поэзия С. П. Шевырева — В кн.: Шевырев С. П. Стихотворения. Л., 1939, с. V—XXXII; его же. «Конрад Валленрод» и «Полтава». — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М. — Л., 1936, кн. 2, с. 43—56).

ности и своеобразия, сформулирован С. Шевыревым более четко, чем Погодиным.

Анализируя «Историю» Карамзина и «Историю» Полевого, внимательно вчитываясь в труды французских историков, наблюдая за жизнью Запада и размышляя над историей России, С. Шевырев уже к концу 20-х гг. приходит к твердому убеждению в том, что Россия по своей сущности — страна совершенно особая, «восточная», чуждая тех элементов, которые на Западе порождали дух революционных преобразований, дух борьбы сословий, классов. С позиций признания исключительности русской истории он критикует труд и Карамзина, и Полевого, которые не выделяют особой, «восточной» сущности России. Уже в 1830 г. он записывает в дневнике: «Карамзин написал Историю России в Европейских формах, как наружных, так и внутренно». И далее: «Одною из главных черт Истории Карамзина служит то, что он хотел Историю России представить совершенно Историей Европейского государства. Этой чертой Карамзин отражал направление века Александрова, когда Россию хотели выставить совершенно во всех отношениях Европейской, направление, кончившееся 14-м декабря. Этот взгляд на Россию, как на совершенно Европейское государство, есть в России общий и вредный. Мы-таки думаем, что мы европейцы по роду и образованию. Надо переменить этот образ мыслей и скромно показать, что мы Азиатцы, преобразованные в Европейцев. Тогда только извинится медленность нашего образования»²⁰.

Не менее резко отзывается он и о труде Полевого. 8 декабря 1830 г. Шевырев записывает в дневнике: «История Полевого есть неудачное переложение Нибура на русские нравы. Новгород непременно призвал варягов: это-то и объясняет его свободу и последующие договоры с князьями. Киев, напротив, был ими завоеван и потому никогда не имел свободы. А Полевой отвергает призвание... У Полевого вовсе не показано различие феодализма западного от системы уделов в России... Полевой вообще в Истории Русского Народа хотел непременно найти сходство с европейской историей, а сказавши сначала, что Запад не принял никакого участия в истории России, впоследствии везде показывает противное. Ему хотелось переложить Тьерри и Нибура на русские дра-

²⁰ ГЛБ, ф. 850. С. Шевырев. Дневник, ед. хр. 17, л. 90 об.

вы»²¹. А в дневнике 1831 г. мысль эта формулируется еще четче: «Россия основана не завоеванием, а добровольным уступлением власти варягам. В этом, мне кажется, должен быть главный источник различий феодализма нашего от европейского»²².

Особый, «восточный» путь, который должен соответствовать сущности развития России, заключается в идеях патриархальности, в отрицании революции: «Наш путь, — писал С. Шевырев 27 октября 1829 г. к Погодину, — не путь крови (как французский), а путь труда, терпения, путь Христов»²³. Эти тезисы, как мы видели, полностью разделял и М. Погодин. Но, в отличие от последнего, С. Шевырев гораздо определеннее рассматривает проблему России и Запада еще и под знаком своеобразия национального характера, романтического «национального духа».

В противоположность Карамзину, утверждавшему, что русский национальный характер является в своей основе «европейским», Шевырев определяет его как «восточный» в своей сущности. При этом сама эта сущность не зависит от исторических или социальных условий, она извечна, неизменна.

Уже 13 июля 1830 г. он заносит в дневник: «Россия есть слияние Востока и Запада. С этой точки зрения надо смотреть на все явления России. Природный характер наш получили мы от Востока, образование от Запада»²⁴. Он ищет подтверждения этому. Одно из них он находит в языке: «Происхождение языка словенского решительно должно быть восточное»²⁵. Даже особенности политической, государственной системы России С. Шевырев объясняет извечными свойствами национального характера как восточного. Он полемизирует с Карамзиным, который стремится найти историческое объяснение возникновению самодержавия. Шевырев пишет по поводу удивления, которое выражал Герберштейн, путешествуя по Московии: «Из этого удивления Европейца проистекает сильнейшее опровержение Европейского взгляда Карамзина на Россию, который самое развитие самодержавия объясняет исторически, как французский историк описывал бы

²¹ ГПБ, ф. 850. С. Шевырев. Дневник, ед. хр. 17, л. 43.

²² Там же, л. 89 об.

²³ ИРЛИ (Пушкинский дом). Отдел рукописей, ф. 26, № 14, л. 58—

²⁴ ГПБ, ф. 850. С. Шевырев. Дневник, ед. хр. 17, л. 1.

²⁵ Там же.

утверждение единодержавия при Людовике XI. Так, Карамзин, смешивая самодержавие с единодержавием, говорит, что первое утвердилось Иоанном и Василием, а не глубже его идет, не в корне народа славянского, не в Азиатском его свойстве, и не подозревает, что сим только может объясниться и самое основание России»²⁶.

В числе коренных свойств русского национального характера как характера «восточного» Шевырев называет фатализм и своеобразный алогизм — качества, противоположные западному сознанию. «Иоанн (Грозный. — И. Т.) есть совершенно русское явление и только в России возможное, т. е. в России до Петра. Его тиранство есть сумасшествие, есть болезнь... Только в России могли тогда сносить безумного палача-царя, как сносят язву, голод, всякое неотвратимое наслание неба. Этот фатализм не есть ли Азиатская черта?»²⁷.

Поскольку русская сущность — «восточная», то задача заключается в том, чтобы возвратиться к ней, а это значит — освободиться от влияния европейского просвещения и связанных с ним идей революции, идей борьбы. Это и понимает Шевырев, когда заявляет о необходимости «возвращения Русских к Русскому».

Он пишет в своем дневнике 13 июля 1830 г.: «Теперь в России к Западу сто врат настужь отворено — и просвещение Европейское разных столетий, разных племен так и хлещет в ней морем Атлантическим. Как ни запирай их, — в щели пробьется и прососет волна упрямая. Петр Первый прорубил первые врата, широкие, огромные; Екатерина Вторая прорубила вторые, но в несчастливое время, когда волны просвещения Европейского полны были кровью революции и гнойным отходом застоявшегося человечества, в то время когда бы надо было запереть их. Странно, как Петр Великий, предвидев будущую революцию французскую, предсказавши ее, не подумал о шлюзах, когда прорывал каналы из Европы в Россию»²⁸.

Таким образом, окончательно становится ясно, что с

²⁶ ГПБ, ф. 850. С. Шевырев. Дневник, ед. хр. 17, л. 95—95 об.

²⁷ Там же, л. 96—96 об.

Запись относится к концу 1831 г. Впоследствии М. Погодин будет выделять в славянском характере «безусловную покорность, равнодушие, противоположные западной раздражительности» (Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846, с. 79).

²⁸ ГПБ, ф. 850. С. Шевырев. Дневник, ед. хр. 17, л. 1.

точки зрения Шевырева влияние «европейского просвещения» является вредным («До сих пор в нас было излишнее влияние Запада»²⁹).

В ряде случаев Шевырев говорит о важной исторической миссии России — служить делу объединения Востока и Запада, делу западно-восточного синтеза культуры. «Мы кажется для того объевропеились, чтобы служить проводником от Азии к Европе», — записывает он в дневнике 14 июля 1830 г.³⁰ В письме, направленном к А. В. Веневитинову из Италии (1830), С. Шевырев так разъясняет свою мысль: «Только русские в состоянии объяснить Восток европейцам, да они и созданы для этого кондукторства...»³¹. Однако мыслится эта связь, этот синтез именно на «восточной» основе.

Все эти вопросы глубоко волновали и Пушкина. В обстановке напряженных исторических раздумий у него складывается концепция, отличающаяся глубиной, диалектичностью и в ряде существенных моментов продолжавшая традиции декабризма. Суждения Пушкина, в которых оценка исторического метода неразрывно сплеталась с темой исторических судеб России, ее соотношения с Западом, были особенно четко выражены в статьях об «Истории русского народа» Н. Полевого.

Статьи эти заключают большой подтекст. Хотя непосредственно они были связаны с трудом Полевого, по существу содержание их гораздо шире. Пушкин имел в виду не только концепцию Полевого, но и идеи других современников — Погодина, Шевырева, Чаадаева. Последнее имя особенно существенно — оно то и дело всплывало в ходе бесед на исторические темы между Пушкиным и Погодиным. Так, 23 декабря 1828 г. Погодин заносит в дневник: «Мысль завести переписку с Чаадаевым, о знакомстве которого с Шеллингом рассказывал и Пушкин»³². Вместе с тем к тому времени, когда в болдинском уединении Пушкин штудировал второй том «Истории» Н. Полевого, он уже был знаком с основными чертами исторической концепции П. Я. Чаадаева. В июне 1830 г. Пушкин спрашивал М. Погодина: «Как Вам кажется Письмо Чаадаева?» (XIV, 100). Речь шла о знаменитом 1-м «Философическом письме». Все это не могло не ска-

²⁹ ИРЛИ (Пушкинский дом). Отдел рукописей, ф. 26, № 14, л. 171 (письмо к Погодину от 26 апреля 1832 г.).

³⁰ ГПБ, ф. 850. С. Шевырев. Дневник, ед. хр. 17, л. 1 об.

³¹ Барсуков, кн. 3, с. 76.

³² Пушкин и его современники, вып. 19—20, с. 92—93.

заться и на раздумьях Пушкина над «Историей» Н. Полевого.

Пушкинские статьи затронули обширный круг вопросов. Но в центре размышлений поэта — проблема своеобразия исторических судеб России, вопрос о ее соотношении с Западом. Тема эта оказывалась неотделимой от проблемы исторического метода.

Основная методологическая посылка, которую обосновывает Пушкин, — исходить из реального исторического опыта, из реальных фактов. Главный методологический порок Н. Полевого (Пушкин, как известно, усматривал в том, что он механически переносил на русский исторический процесс формулы западноевропейских историков, сложившиеся на основе обобщения совершенно иных фактов, чем те, которые характеризуют Россию (Полевого, по мнению Пушкина, увлекает «желание приноровить систему новейших историков и к России...», XI, 126).

Сам принцип, провозглашенный Пушкиным, его требование исходить в своих теоретических построениях не из априорных схем, а из конкретного изучения реальной истории, был необычайно важен. Этим он неизмеримо возвышался не только над Полевым. Ведь недостаток, о котором говорит Пушкин, по-своему давал себя знать и в построениях Погодина, Шёвырева, Чаадаева: как бы ни различалось конкретное содержание их исторических доктрин, все они так или иначе оказывались во власти предвзятых, сконструированных схем, игнорировали подлинную реальность истории.

Больше того, принцип, выдвинутый Пушкиным, имел огромное значение не только для собственно исторической мысли, но и для художественного творчества; он представлял одну из основ реалистического искусства: необходимость соответствия художественного произведения реальности истории, подлинной действительности.

Проблему соотношения исторических судеб России и стран Западной Европы Пушкин раскрывает с подлинной диалектичностью и глубиной, ему чужда односторонность решений. Пушкин видит одновременно и то общее, что присуще истории России и Запада, и то, что составляло глубокое своеобразие России. Пушкин категорически настаивает: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизо-

том из истории христианского Запада» (XI, 127). Своеобразие это Пушкин усматривал, в частности, в таких моментах, как отсутствие феодализма и процесса освобождения городов («Освобождение городов не существовало в России», XI, 376).

В науке высказывались предположения, что в формировании исторической концепции Пушкина определенную роль могли сыграть воззрения геттингенского профессора Геерена. Отмечая различия между историей западноевропейских и славянских стран, Геерен указывал на то, что в последних не было феодального принципа, связанного с вассальной зависимостью, а также освобождения городов и, следовательно, условий для формирования третьего сословия³³.

Эти идеи, как справедливо отмечали А. Н. Шebuнин и Б. В. Томашевский, конечно же, могли оказать известное влияние на Пушкина. Остается, однако, открытым вопрос о том, к какому времени следует отнести ознакомление Пушкина с идеями геттингенского профессора. А. Н. Шebuнин писал: «Эти взгляды, можно думать, были привиты Пушкину еще на лицейской скамье, когда он слушал Кайданова, читавшего историю «по Геерену»³⁴. С еще большей определенностью исследователь повторил эту мысль в статье о пушкинской «Истории Пугачева»: «Уже на школьной скамье он (Пушкин. — И. Т.) слышал от читавшего курс истории профессора Кайданова о коренном отличии русской истории от западной: в России не было феодализма, не было борьбы городов за освобождение, реальной силой было только самодержавное правительство»³⁵.

Между тем сохранившиеся материалы, прежде всего конспекты лицейских лекций, не дают оснований для столь категорических выводов. В курсе русской истории И. И. Кай-

³³ О Геерене см.: Шebuнин А. Н. Западные европейские влияния в мировосприятии Н. И. Тургенева. — *Анналы*, 1923, вып. 3; Томашевский Б. В. Пушкин и история французской революции. — В кн.: Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 200. О влиянии идей Геерена на историческое сознание Пушкина см. Шebuнин А. Рец. на ст.: Попов П. Пушкин в работе над историей Петра I (Лит. наследство, 1934, т. 16—18). — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.—Л., 1936, кн. 2, с. 338; Томашевский Б. В. Один из источников «Полтавы». — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.—Л., 1939, кн. 4—5, с. 483.

³⁴ Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.—Л., 1936, кн. 2, с. 435.

³⁵ Шebuнин А. «История Пугачева». — Литературное обозрение, 1937, № 2, с. 48.

данова (как он отразился в записях А. Горчакова) вопрос об отличии русской истории от западноевропейской по существу специально не освещался³⁶. Правда, в заметках Горчакова, приложенных к конспекту курса, тема эта затронута, но вскользь и не совсем в том плане, в каком речь идет у Геерена. В заметках Горчакова читаем: «В то время, когда Запад. Рим Империи мрак грубости и невежества покрывал почти всю Зап. Европу, когда жестокости феодального правления угнетали на Западе Европы народ и уничтожили всю нар. промышленность, новгородские славяне производили уже торговлю с Вост. Рим империей и, находясь с ней в связи, заимствовали от нее и образование»³⁷.

В первых изданиях курса И. И. Кайданова специфический характер исторического развития России, в отличие от Западной Европы, не выявлялся. Напротив, автор недвусмысленно признает существование феодализма в России. «Норманны или Варяги — Руссы ввели и в России феодальную систему. Святослав и сын его Владимир еще более утвердили ее разделением своего государства между своими сыновьями на уделы. Сия феодальная система в России была тем сильнее и для всего государства опаснее, что здесь не простые вельможи, но потомки Владимира были удельными владетелями, а посему тем труднее было великим князьям содержать их в повиновении и подчиненности»³⁸.

Сложнее обстоит вопрос о соотношении исторических взглядов Пушкина и Погодина. Говоря об исторических взглядах Пушкина, Шебунин поставил их в зависимость от концепции Погодина. Он писал: «Пушкин не мог не знать существа взглядов Погодина, для которого основное отличие русского исторического процесса от западноевропейского заключалось в отсутствии в первом борьбы классов». Приведя далее точку зрения М. Погодина, выраженную им в лекции 1832 г. «Взгляд на русскую историю», А. Шебунин замечает: «То, что для верноподданного «простолюдина» Погодина, уже ставшего идеологом бюрократической монархии... было положительным явлением, то для Пушкина было отрицательным».

³⁶ Общий характер исторических курсов, читавшихся в лицее И. И. Кайдановым, рассмотрен в кн. Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 86—99.

³⁷ ИРЛИ (Пушкинский дом). Отдел рукописей, ф. 244, оп. 25, № 369, л. 48.

³⁸ Кайданов И. Руководство к познанию всеобщей политической истории СПб., 1821, ч. 2, с. 118.

цательной стороны русского прошлого, и если он все-таки обратился к Погодину, то потому, что понимание русского исторического процесса (понимание, а не отношение) у них было одинаковым»³⁹.

Утверждение это представляется весьма неточным, спорным и вот почему. Во-первых, к размышлениям о своеобразии исторического развития России Пушкин обращался еще задолго до общения с кругом Любоумудров, до знакомства с воззрениями Погодина и Шевырева. Так, например, в пушкинских заметках 1822 г. находим такое суждение: «...греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер» (XI, 17).

И, во-вторых, к тому времени, когда проблема своеобразия русской истории стала одним из пунктов размежевания декабристской интеллигенции, содействуя зарождению западничества и славянофильства, главное заключалось не в самой по себе констатации элементов сходства или различия между историей России и стран Запада, а в характере системы взглядов на исторический процесс, в содержании доктрины. Решающим же в системе взглядов Погодина и Шевырева стал тезис о «восточной» сущности России и русского национального характера. Но именно в этом пункте пушкинское понимание проблемы соотношения России и Запада, при некотором сходстве с погодинско-шевыревским, в основе своей было принципиально иным: для Пушкина Россия, при всем ее своеобразии, по своей сущности страна европейская. «...Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой...», — скажет Пушкин. «С остальной» — это важно, ибо то, что она оказалась исторически отделена от этой «остальной» Европы, не противоречит ее собственно европейской природе. «Думаете ли вы, что он (будущий историк. — И. Т.) поставит нас вне Европы?» — вопрошал Пушкин в неотправленном письме к П. Я. Чадаеву от 19 октября 1836 г. (XVI, 393; пер. с франц.)⁴⁰.

Как справедливо отмечает Б. И. Бурсов, для Пушкина Россия одновременно по своему духу страна европейская и исключительная, особая: «Россия по духу своему всегда принадлежала к европейской семье народов, хотя и развивалась

³⁹ Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М. — Л., 1936, кн. 2, с. 440.

⁴⁰ Ср. высказывание А. И. Герцена: «Принадлежат ли славяне к Европе? Нам кажется, что принадлежат» (Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954, т. 1, с. 30).

особым путем»⁴¹. В этом сложность и противоречивость самой реальной истории.

Пушкин писал: «Гизо объяснил одно из событий христианской истории: *европейское просвещение*» (XI, 127). В судьбе этого наследства Россия сыграла исключительную роль. Будучи отторгнутой от Европы, Россия, отразив нашествие кочевников, спасла «образующееся просвещение» (XI, 268); тем самым она по-своему участвовала в строительстве европейского мира, в судьбах европейской цивилизации. Как бы своеобразно ни складывалась судьба России, европеизация — не чужеродный, а органический элемент ее истории. «Но и в эпоху бурь и переломов цари и бояре согласны были в одном: в необходимости сблизить Россию с Европою»; в результате петровских преобразований «европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» (XI, 269).

Для Погодина и Шевырева путь европеизации представлялся чуждым России, поскольку он противоречил ее сущности: задача заключалась в том, чтобы вернуть Россию к к ее исконной, «восточной» основе, насаждать идеалы патриархальности. Пушкин же скажет: «Горе стране, находящейся вне европейской системы!» (XI, 127). В письме к П. А. Вяземскому от 18 марта 1830 г. он с радостью сообщает о намерениях правительства «действовать в смысле европейского просвещения» (XIV, 69). А в черновике неоправленного письма Чаадаеву от 19 октября 1836 г. Пушкин замечает: «Надо было прибавить (не в качестве уступки, но как правду), что правительство все еще единственный Европеец в России...» (XVI, 422; пер. с франц.). В данном случае, независимо от вопроса об оценке деятельности правительства, важно то, что Пушкин не сомневался в необходимости осуществления процесса европеизации.

Признание Пушкиным закономерности процесса европеизации органически сочеталось с его взглядами с убеждением в особом предназначении России. Неудивительно поэтому, что не менее явственно, чем с Погодиным и Шевыревым, он расходился и с теми, кто игнорировал специфический характер исторического развития России. Наглядный тому пример — его «антиевропейские» замечания на полях рукописи книги П. А. Вяземского о Фонвизине, замечания,

⁴¹ Бурсов Б. Национальное своеобразие русской литературы. М. — Л., 1964, с. 16.

которые П. А. Вяземский комментировал следующим образом: «Он (Пушкин. — И. Т.), хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы, то есть до-Петровской России»⁴².

В решении проблемы исторических судеб России Пушкин, как и во всем, шел своим путем.

2

Среди вопросов, связанных с проблемой исторических судеб России и Запада, особое значение приобрел вопрос о феодализме, о своеобразии русского и западноевропейского средневековья. В средневековье уходили своими корнями те исторические силы, которые в дальнейшем определили характер социальной структуры современного западноевропейского общества. Из недр западноевропейских феодальных отношений в процессе борьбы средневековых городских коммун формировалось третье сословие, складывались условия для буржуазной революции.

Особенно острый интерес к вопросам феодализма проявляли историки французской школы. Они рассматривали историю феодализма в динамике, в процессе его возникновения, развития и закономерной гибели под напором новых буржуазных отношений, в результате борьбы третьего сословия против дворянства. Эта особенность французской исторической школы — преимущественный интерес к средневековью, к эпохе феодализма — была отмечена в России. Характеризуя деятельность Гизо, Тьерри, Барантá, харьковский профессор В. Цых писал: «Показать постепенное смешение, соединение различных элементов нравственной и умственной образованности и народностей, приведенных, так сказать, в брожение в начале средней истории; открыть всякого происшествия истинный смысл и значение; изобразить все в резких, характеристических его чертах; сообщить все-

⁴² Цит. по ст.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Пушкин и книга Вяземского о Фонвизине. — В кн.: Новонайденный автограф Пушкина. Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине». М. — Л., 1968, с. 79. В этой статье дана содержательная характеристика позиции Пушкина и Вяземского в указанном вопросе.

му современный, местный колорит, — вот идеи, по которым обрабатывают среднюю историю сии великие писатели»⁴³.

Полемика, развернувшаяся вокруг «Истории русского народа» Н. Полевого, придала вопросу о феодализме, о характере средневековья особую злободневность. Предстояло решить, являются ли процессы, происходящие на Западе, неизбежными и для России? Есть ли в России условия для формирования революционного третьего сословия, какова роль русского дворянства, что представляет собой крестьянская стихия? В поисках ответов на эти вопросы надлежало обратиться к опыту прошлого, определить особенности русского средневековья, выяснить, существовала ли в России система отношений, характерных для западноевропейского феодализма.

Н. М. Карамзин не придавал проблеме феодализма сколько-нибудь серьезного значения. В «Истории государства Российского» довольно глухо говорится: «...вместе с верховною княжескою властью утвердилась в России, кажется, и система феодальная, поместная или удельная, бывшая основанием новых гражданских обществ... во всей Европе»⁴⁴. Примечательно это неуверенное «кажется».

В полный голос о проблеме феодализма заговорил Н. Полевой, который отождествлял систему отношений Древней Руси с феодальной системой западноевропейских стран. В эволюции русского феодализма, генезис которого он вслед за зарубежными историками объясняет исходя из теории завоевания, Полевой различает несколько стадий: вначале была «норманская феодальная система», она сменилась «феодализмом семейственным» (так определяется им система уделов).

Иначе, в соответствии с общей системой своих воззрений, решали эту проблему М. Погодин и С. Шевырев. Примечательна эволюция суждений Погодина, который от признания наличия феодализма в России⁴⁵ вместе с общим изменением взглядов приходит в конце концов к его отрица-

⁴³ Цых В. Решение вопроса по причине беспрестанного умножения массы исторических сведений и распространения объема истории. Харьков, 1833, с. 35—36.

⁴⁴ Карамзин Н. М. История государства Российского. 3-е изд. СПб., 1830, т. 1, с. 135.

⁴⁵ В 1826 г. М. Погодин писал: «Я давно уже разделил российскую историю на два периода. Первый — феодализм с Рюрика, второй — деспотизм с Иоанна III. ...Рюрикова династия жила в феодализме и совершила оный деспотизм» (цит. по кн.: Барсуков, кн. 2, с. 18).

нию — к выводу о том, что, в отличие от Европы, в России не было феодализма.

Впрочем, на рубеже 20-х и 30-х гг., когда доктрина его еще складывалась, Погодин так формулировал свой взгляд на проблему феодализма в России: «У нас... развилась удельная система, которая существенно отличается от феодальной, хотя и составляет вид того же рода, и государство оставалось во владении одного семейства, разделившегося на многие отрасли»⁴⁶. Как видим, он рассматривает удельную систему как специфическую разновидность феодальной, подчеркивая ее «семейственный» характер («во владении одного семейства»).

Точка зрения С. Шевырева в сущности близка к погодинской. «У нас, — настаивал он, — был особенный, наследственный, родовый феодализм, совершенно отличный от европейского. Европейский феодализм произошел от того, что все западные государства Европы основались завоеванием, а наш от того, что Россия основалась добровольною уступкою славян одному роду»⁴⁷. В дневнике 1831 г. он записывает: «Феодализм русский основан на родстве, не как прочий европейский на совокупном завоевании. Это весьма важно в нашей истории. Дело в том, что Россия основана не завоеванием, а добровольным уступлением власти варягам. В этом, мне кажется, должен быть главный источник различий феодализма нашего от европейского»⁴⁸.

Как видим, М. Погодин и С. Шевырев, не отвергая понятия «феодализм», сталкивают систему политических отношений на Руси в свете своей доктрины, настаивая на их особой патриархальности. Примечательно поэтому, что определение «семейственный феодализм», которое было выдвинуто Н. Полевым, вызвало их одобрение; они дали ему свою интерпретацию. С. Шевырев писал об «Истории» Н. Полевого М. Погодину 9 декабря 1830 г.: «О феодализме противоречий тысяча. Слово *семейственный* хорошо». И далее: «Родство у нас играет важную и главную роль в феодализме»⁴⁹.

⁴⁶ Погодин М. Взгляд на русскую историю (1832). — В кн.: Историко-критические отрывки. М., 1846, с. 6.

⁴⁷ ГПБ ф. 850. С Шевыреца Дневник, ед. хр. 17, л. 92 (1831 г.)

⁴⁸ Там же, л. 90 об.

⁴⁹ ИРЛИ (Пушкинский дом). Отдел рукописей, ф. 26, № 14, л. 133 об. В начале 30-х гг. вопрос о феодализме становится предметом обсуждения на страницах журналов. В статье «Девятнадцатый век» И. Кире-

Важное место проблема феодализма занимала и в раздумьях Пушкина. В статьях об «Истории» Н. Полевого, решительно полемизируя с автором, который утверждал наличие феодализма в России, отождествляя его с западноевропейским и объясняя его генезис теорией завоевания, Пушкин настойчиво проводил мысль об отсутствии феодализма в русской истории. В ответ на замечание Полевого: «Мог ли варяг понимать благодать другого правления, кроме феодального?», Пушкин заявляет: «Феодализма не было». ⁵⁰ Точку зрения Полевого Пушкин оспаривает неоднократно: «Он (Полевой. — И. Т.) видит опять и феодализм (называет его семейственным феодализмом) ⁵¹ и в сем феодализме средство задушить феодализм же, полагает его необходимым для развития сил юной России» (XI, 126).

Формула, выдвинутая Пушкиным, категорична: «Феодализма у нас не было, и тем хуже» (XI, 127). Первая часть этой формулы совершенно ясна. «Сохраняя термин «феодализм» только за западным феодальным строем, Пушкин до-

евский рассматривает вопрос о соотношении феодализма в России и на Западе. Он показывает сходство и различие между ними, спорит с Н. Полевым, не называя его по имени. Точка зрения И. Киреевского: «Из этого, однако, не следует, чтобы феодальная система и система уделов были одно и то же, как утверждали у нас некоторые писатели; ибо, не говоря уже о другом, одна зависимость феодального устройства от церкви, служащей первым основанием всех феодальных прав и отношений, уже полагает такое различие между двумя системами, что непонятно, каким образом многие из литераторов наших, хотя на минуту, могли почитать их одинаковыми. Но, с другой стороны, феодальное устройство представляет столько сходного с нашими уделами, что нельзя не предположить, что система уделов была одним из элементов феодализма» (Киреевский И. В. Полн. собр. соч., М., 1911, т. 1, с. 101). Подробно останавливается на этой проблеме О. Сенковский, который разграничивает системы феодальную и аллоидальную, считая, что в России существовала последняя: «В России, как и в Скандинавии, исключительно господствовала чистая аллоидальная система, а уделы принадлежат ей собственностию, на которую феодальная система не имеет никакого права...» (Сенковский О. Скандинавские саги. — Библиотека для чтения, 1834, т. 1, отд. Науки и художества, с. 133). Специальную статью о феодальной системе в Западной Европе написал И. Шульгин (Библиотека для чтения, 1834, ч. 7). Появляется также множество переводных материалов, посвященных этой проблеме.

⁵⁰ Рукою Пушкина. М. — Л., 1935, с. 175.

⁵¹ «Семейственный феодализм есть бессмыслица», — замечает Пушкин на полях при чтении второго тома «Истории» Н. Полевого. Для Пушкина феодализм — это система газьединения, а потому родство и феодализм несовместимы. Поскольку понятие «семейственный феодализм» было приемлемо и для Шевырева и Погодина, то ясно, что в этом пункте Пушкин расходится не только с Полевым, но и с ними.

казывает, что таких социальных отношений, какие характеризуют западный феодализм, в России не было», — писал Б. В. Томашевский⁵².

Суть позиции Пушкина в том, что ему важно выделить те черты и особенности русского средневековья, которые составляли его специфический облик. Вот почему в одном из черновых вариантов Пушкин замечает: «Удельные Княжества столь же мало походят на феодализм европейских баронов — как нынешние губернии на... Чингис-Хановы орды...» (XI, 377).

«Феодализму» (на Западе) Пушкин противопоставляет «аристокрацию» (в России): «...аристокрация не есть феодализм... аристокрация, а не феодализм, никогда не существовавший, ожидает русского историка» (XI, 126). Различие между западными феодальными баронами и русскими удельными князьями и боярами Пушкин видит прежде всего в отсутствии в России системы вассальных отношений, характерных для Запада⁵³. В западноевропейских странах существовала система феодального права, основанная на договорных, точно установленных взаимных обязанностях сюзерена и вассала, четкая их иерархия. «Вступая в феодальное общество и делаясь вассалом сюзерена, человек становился им на договоренных, четко определенных и вперед известных условиях», — говорит об этом Ф. Гизо⁵⁴. И в другом месте: «Феодальный союз никогда не составлялся без согласия принимавших в нем участие, как вассала, так сюзерена, как низшего, так и высшего: следовательно, общество устанавливалось по воле своих членов»⁵⁵. Отсюда вытекало «право разорвать ассоциацию»⁵⁵.

Имея в виду такого рода отношения на Западе, Пушкин в «Заметках по русской истории» (предположительно датируемых 1831 г.) писал: «У феодальных владельцев были у каждого по отношению к другому обязанности и права» (XII, 484; пер. с франц.). А в черновиках заметки о французской революции (1831) говорится, что при феодальной

⁵² Томашевский Б. В. Пушкин. М. — Л., 1961, кн. 2, с. 179.

⁵³ См. Юшков С. — А. С. Пушкин и вопрос о русском феодализме. — Историк-марксист, 1937, т. 1, с. 60. Трудно, однако, согласиться с утверждением автора статьи, будто Пушкин рассматривал «русский исторический процесс под углом зрения признания существования феодализма в России» (с. 62).

⁵⁴ Гизо Ф. История цивилизации во Франции. М., 1881, т. 3, с. 189.

⁵⁵ Там же, с. 187.

⁵⁶ Там же, с. 193.

системе «все определено и известно: права и обязанности, власть королевская (*Le domaine*), власть великих владетелей, и феодальная иерархия от Пера до последнего вассала» (XI, 436). В России же положение иное. Здесь «удельные князья зависели от единого великого князя и то весьма неопределенно — бояре их не были в свою очередь владельцы, но их придворные сподвижники» (XII, 204)⁵⁷.

Этот юридический момент в концепции Пушкина оказывается неотделимым от политического и социального. В отличие от западноевропейского феодализма, где королевская власть в целях обуздания сепаратистских стремлений феодалов вступала в союз с третьим сословием, в России, по словам Пушкина, «великие князья не имели нужды соединяться с народом, дабы их (бояр. — *И. Т.*) усмирять» (XI, 126). Почему? Хотя в России и существовала опасность чрезмерного усиления могущественной «аристокрации», родовитых вельмож, т. е. аристократической олигархии⁵⁸, но для усмирения «аристокрации» великим князьям не было нужды вступать в союз с народом — они опирались в этом на «меньшее», служилое дворянство⁵⁹.

Наконец, в отличие от стран Запада, где значительную роль играл процесс освобождения городов, в результате которого формировалось третье сословие, в России картина была иной. «Освобождение городов, — писал Пушкин, — не существовало в России» (XI, 376). Он решительно не согласен с попытками Н. Полевого провести аналогию между Новгородом и Псковом и городскими коммунными на Западе: «Новгород на краю России и соседний ему Псков были истинные республики, а не общины (*communes*), удаленные от Великокняжества и обязанные своим бытием сперва... хитрой своей покорности, а потом слабости враждующих князей» (XI, 376). Говоря так,

⁵⁷ К этой мысли Пушкин возвращался не раз. Так, в «Очерке истории Украины» (1831) он пишет: «Владимир разделил между своими сыновьями завоевания своих предков. Эти князья в своих уделах являлись представителями государя.. Это, как видим, не феодальный строй, который основан на независимости отдельных владельцев и на равном праве на добычу» (XII, 483; пер. с франц.).

⁵⁸ В статье о втором томе «Истории» Н. Полевого Пушкин останавливается на основных вехах в ее судьбе: «Аристократия стала могущественна. Иван Васильевич III держал ее в руках при себе. Иван IV казнил» (XI, 127).

⁵⁹ «Не Федор, но Языков, т. е. меньшее дворянство, унизительно местничество и боярство, принимая сие слово не в смысле придворного чина, но в смысле аристокрации» (XI, 127).

Пушкин имел в виду, несомненно, не только характер взаимоотношений Новгорода и Пскова с Великокняжеством, их независимость, но и специфические особенности системы внутреннего управления, черты подлинного народоправства — в отличие от западноевропейских коммун⁶⁰.

Систему управления западноевропейских городских общин Гизо характеризовал следующим образом: «Из всей совокупности жителей составлялось народное собрание общины... которым назначались должностные лица... По назначении должностных лиц собрание расходилось, а выбранные сановники почти одни управляли городом, с довольно неограниченным произволом»⁶¹. При подобной узурпации власти сановниками мало что оставалось от народоправства. Н. Полевой, отождествлявший Новгород и Псков с западноевропейскими городскими общинами, отвергал тем самым и традиции народоправства. Это отметил, в частности, и С. Шевырев в письме к М. Погодину от 9 декабря 1830 г.: «Он (Полевой. — И. Т.) втыкает в свой сад чужие ветки без корня... les communes Тьерри перерядил в историю Новгорода. Это, впрочем, остроумно и лучшее место в его Истории. Но говоря о правлении, говорит: князь все значит, а народ ничего. Где же les communes?»⁶².

Не только Н. Полевой отождествлял Новгород с западноевропейскими городами; И. В. Киреевский также считал, что система правления Новгорода и Пскова заимствована «по большей части из сношений с иноземцами»⁶³. Отождествлял Новгород с западноевропейскими вольными городами и О. Сенковский, «...В вольном порода, — так назовем мы Новгород, ибо республикою его никак назвать невозможно», — писал он⁶⁴. Погодин и Шевырев, как отмечалось выше, истолковывали тему Новгорода в свете своей доктрины о добровольном призвании.

Выясняется, следовательно, что Пушкин был в сущности единственным, кто после 1825 г. продолжал рассматривать

⁶⁰ Впрочем, в статье «О народной драме и драме «Марфа Посадница» Пушкин говорит о «дипломатичке русокого вольного города», т. е. Новгорода (XI, 182).

⁶¹ Гизо Ф. История цивилизации в Европе. СПб., 1864, с. 123.

⁶² ИРЛИ (Пушкинский дом). Отдел рукописей, ф. 26, № 14, л. 133 об.

⁶³ См. Киреевский И. В. Девятнадцатый век (1832). — Полн. собр. соч. т. 1, с. 99.

⁶⁴ Библиотека для чтения, 1834, т. 1, с. 21.

Новгород и Псков в свете национальной традиции народо-правства: «истинные республики»⁶⁵.

Как видим, вопрос о том, почему Пушкин отвергал наличие феодализма в историческом прошлом России, достаточно ясен. Загадочно, однако, другое: почему он говорит «тем хуже» («Феодализма у нас не было, и тем хуже»).

Наиболее распространено в науке объяснение, которое в конечном счете восходит еще к плехановскому⁶⁶ и сводится к следующему: в отсутствие феодализма Пушкин видел отрицательный факт, поскольку оно свидетельствовало о том, что в России не было условий для формирования революционного третьего сословия, для развертывания буржуазной революции. Это объяснение в разных вариантах повторяется во многих работах, анализирующих позицию Пушкина по данному вопросу. Так, по мнению М. Покровского, в отсутствие феодализма в России Пушкин видел «недостаток, некоторое уродство русской истории»⁶⁷. С точки зрения А. Шербунина, отсутствие феодализма и борьбы городов, составлявшее особенность русского исторического процесса, имело в понимании Пушкина «чисто отрицательное значение», поскольку из-за этих причин в России «не сложилось ни сильной аристократии, ни способной ограничить царскую власть буржуазии»⁶⁸. Объяснение Б. В. Томашевского выражено таким образом: «Хуже потому, что в русской истории не было предпосылок для буржуазной революции»⁶⁹.

Между тем справедливость подобного толкования пушкинских слов вызывает серьезные сомнения. Во-первых, вряд ли Пушкин, который требовал судить об истории России исходя из нее самой и настаивал на необходимости применять к ней другую формулу, чем к странам Запада, мог усматривать в своеобразии ее развития некое «уродство», «аномалию», «недостаток» и делать пессимистические выводы из того, что ее

⁶⁵ Позднее Герцен напишет: «Новгород.. был республикой, насколько можно было быть республикой на Руси» (Герцен А. И. Собр. соч. М., 1954, т. 2, с. 46).

⁶⁶ По мнению Плеханова, Пушкин видел в отсутствии в России феодализма западного типа «не преимущество, а недостаток». Пушкинское «тем хуже» выражало, как и у всех «западников», «сожаление об отсутствии внутренней борьбы в русской истории» (Плеханов Г. В. Соч. М. — Л., 1926, т. 23, с. 65—66).

⁶⁷ Покровский М. Пушкин — историк. — В кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М. — Л., 1933, т. 5, с. 21.

⁶⁸ Шербунин А. «История Пугачева». — Литературное обозрение, 1937, № 2, с. 49.

⁶⁹ Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2, с. 180.

судьба сложилась иначе, чем судьба западноевропейских стран. Вспомним в этой связи его полемику с Чаадаевым («...Как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?», XVI, 393).

Во-вторых, сторонники такого объяснения пушкинских слов исходят из предположения, будто поэт сожалел о малочисленности и слабости третьего сословия в России и хотел видеть в ней буржуазную революцию в ее западноевропейском варианте. Между тем оснований для таких предположений у нас нет. Напротив, известно, что к буржуазии с ее торгашеством он подходил критически. Да ведь и самый спор с концепцией Н. Полевого и ее идеологическими выводами в конечном счете был связан именно с этим. Статья Пушкина о втором томе «Истории русского народа» Н. Полевого писалась в болдинскую осень 1830 г., т. е. уже после Июльской революции в Париже. Пушкин проявлял к ней, как известно, большой интерес, понимал ее закономерность, внимательно следил за ходом событий, но из этого вовсе еще не следует, что он считал ее желательной — в такой форме — для России⁷⁰. Несомненно прав Б. В. Томашевский, который замечает: «При анализе политических взглядов Пушкина... нужно отделять его русскую политическую программу от западноевропейской»⁷¹.

Как видим, традиционное объяснение пушкинского тезиса не является убедительным. Следует иметь в виду, что сам термин «феодализм» в пушкинском употреблении многозначен (система разъединенности, аристократическая олигархия и др.)⁷². Поэтому смыслу формулы Пушкина может быть уяснен, если рассматривать ее не изолированно, а в реальном контексте статьи, исходя из логики его размышлений.

Формула: «Феодализма у нас не было, и тем хуже» завершает в статье в тезисной форме развитие мысли поэта. Напомним ход пушкинских рассуждений: «Дело в том... что

⁷⁰ Нельзя согласиться с категорическим утверждением А. Чхеидзе: Пушкин «отнесся к Июльской революции, свергнувшей монархический режим, с большим сочувствием» (Чхеидзе А. «История Пугачева» А. С. Пушкина. Тбилиси, 1963, с. 12). Все, что мы знаем об отношении Пушкина к Июльской революции, явно недостаточно, чтобы прийти к такому заключению (см. Томашевский Б. В. Пушкин и Июльская революция 1830—1831 гг. — В кн.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2).

⁷¹ Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2, с. 334.

⁷² См. в этой связи: Пугачев В. В. Историческая проза. — В кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения /Под ред. Б. П. Городецкого и др. Л., 1966, с. 505—506.

Россия не окрепла и не развилась во время *княжеских драк* (как энергически назвал Карамзин удельные междоусобия), но, напротив, ослабла и сделалась легкой добычей татар...» (XI, 126).

Остановившись далее на основных вехах в истории борьбы с «аристокрацией», т. е. с боярством и его притязаниями, Пушкин и делает вывод: «Феодализма у нас не было, и тем хуже» — вывод, имеющий прежде всего конкретное, частное, а не расширительное значение: «хуже» потому, что вместо «обычного» феодализма была «аристокрация» (с которой связываются в первую очередь княжеские междоусобия и сепаратистские стремления боярства, а затем и поползновения аристократической олигархии), ослаблявшая Россию накануне татарского нашествия и препятствовавшая ее единству в известном смысле еще больше, чем западноевропейская феодальная система с ее вассальными, строго определенными договорными отношениями. Именно княжеские междоусобия стали главной причиной того, что Россия сделалась «легкой добычей татар».

Запад был в ином положении: ведь «феодальное правление» — это «система простая и сильная» (XI, 439). С вассальными отношениями, свойственными западноевропейской феодальной системе (в отличие от «аристокрации» в России), была связана — наряду со стремлением к разведению и независимости — также и обязанность вассалов выступать с оружием в защиту своих сюзеренов, против внешней опасности. На этот двойственный характер феодальной системы указывалось, в частности, в курсе И. Кайданова: «По духу и разуму сего правления (феодального. — И. Т.), всяк, получивший в удел часть земли, должен был с оружием защищать ее, и содержать народ в повиновении. Таковая система правления была в то время почти необходима. Притом, таковую систему правления можно назвать лучшим и вернейшим средством для отвращения внешней опасности от государств...»⁷³.

Из сказанного вовсе не вытекает, что Пушкин сожалел об отсутствии в русском прошлом феодальной системы западноевропейского типа. В той же статье он прямо отвергает точку зрения Полевого, который считает феодализм «необходимым для развития сил юной России» (XI, 126). Да и

⁷³ Кайданов И. Руководство к познанию всеобщей политической истории, ч. 2, с. 115—116.

вообще о структуре социальных отношений пушкинская формула в рассматриваемом контексте статьи не говорит.

Исчерпывается ли, однако, содержание пушкинской формулы лишь отмеченным конкретным ее смыслом?

Е. А. Тоддес настаивает на том, что формула Пушкина «Феодализма у нас не было, и тем хуже» имеет не частное, но, напротив, расширительное значение, и соотносит ее с особенностями взглядов поэта на дворянство как силу, противостоящую деспотизму самодержавной власти. «Наиболее вероятный смысл пушкинской формулы, — пишет он, — вытекающий, впрочем, из всех его текстов о дворянстве, литературной и нелитературной аристократии, таков: историческая возможность создания «учреждений независимости» связана с феодализмом, в России феодализм не развиваясь, и эта возможность осталась нереализованной — аристократия не стала институтом, независимым от самодержавной власти»⁷⁴. Он так объясняет смысл пушкинского «тем хуже»: «Тем хуже для Пушкина потому, что русская государственность не создала механизма противодействия деспотизму»⁷⁵.

Несомненно, в широком аспекте пушкинские размышления о «феодализме» и «аристократии» находятся в тесной связи с раздумьями поэта о судьбах русского дворянства, и в этом плане (тем более, если учесть многозначность термина «феодализм») толкование пушкинской формулы, предложенное Е. А. Тоддесом, имеет известные основания, может рассматриваться как одно из гипотетических. И все же оно не устраняет весьма существенных сомнений.

При всей многозначности пушкинского употребления термина «феодализм» он всегда имеет в его трактовке преимущественно негативный оттенок, связанный с тем, что превалирующим в содержании этого термина являются все же идеи разобщенности, разъединенности. Саму идею независимости дворянства Пушкин понимал отнюдь не в «феодальном» плане: как бы ни менялись его взгляды на судьбы и назначение русского дворянства, он представлял его не в духе западноевропейской феодальной системы. (По Пушкину дворяне — защитники народа, его предстатели; привилегии дворянства — момент скорее нравственный.) Пушкин рез-

⁷⁴ Тоддес Е. А. О мировоззрении П. А. Вяземского после 1825 года. — В кн.: Пушкинский сборник. Рига, 1974, вып. 2, с. 158 (Учен. зап. Латвийск. ун-та им. Петра Стучки, т. 215).

⁷⁵ Там же, с. 161.

ко отзывастся о «феодалной нетерпимости... чиновных журналистов», с горечью говорит о «феодалном рабстве» (XI, 441). Нет оснований полагать, будто взгляды поэта на феодализм коренным образом изменились после 1825 г. — по сравнению с ранними «Заметками по русской истории XVIII века» (где говорится об опасности «чудовищного феодализма»). Но эти же соображения как раз ставят под сомнение то расширительное толкование пушкинской формулы, которое предлагает Е. А. Тоддес⁷⁶.

⁷⁶ Думается, не случайно слова об «учреждениях независимости» из статьи Пушкина о втором томе «Истории» Н. Полевого, на которые ссылается исследователь, все же не вошли в ее основной текст и остались в первоначальном наброске.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПУШКИН И «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н. М. КАРАМЗИНА

1

Дискуссии, разгоревшиеся на рубеже 20-х и 30-х гг. по вопросам русской истории, выявили характерную особенность умственной жизни общества — переход от отвлеченных теоретических философско-исторических проблем к вопросам конкретной социальной истории. Этот процесс сближения истории не только с философией, но и с социологией, с изучением структуры общества составлял отличительную черту развития общеевропейской исторической мысли. Наиболее яркое выражение он нашел в деятельности французских историков эпохи реставрации.

Стремление выявить своеобразие русской истории, понять характер все обострившихся социальных конфликтов, уловить перспективы дальнейшего развития России — все это вызвало в русском обществе глубокий интерес к трудам французских историков, к их исторической методологии, в том числе и со стороны Пушкина. Обнаружилось, однако, принципиальное различие между ним и названными историками. Последние выдвигали в качестве решающей силы исторического прогресса третье сословие. Именно оно, по словам Гизо, было «самым деятельным и решительным элементом французской цивилизации»¹. Третье сословие рассматривалось французскими историками как выразитель интересов всего народа, всей нации.

¹ Гизо Ф. История цивилизации во Франции. М., 1880, т. 4, с. 5.

Размышляя над русской историей, Пушкин обнаруживает в ней иное соотношение социальных сил. Поскольку в России отсутствовал процесс освобождения городов, не было и условий для формирования мощного революционного третьего сословия. Здесь иначе сложилась историческая судьба дворянства, иными, чем на Западе, предстали и соотношения его с народом — русским крестьянством. В этой обстановке особую остроту приобретал вопрос об исторической роли дворянства, о его взаимоотношениях с крестьянством.

«Что такое дворянство?», «Происхождение дворянства», «Русское дворянство что ныне значит?» — поиски ответов на эти вопросы, набросанные в заметках «О дворянстве», вели в глубь русской истории. Не случайно, конечно, заметки «О дворянстве» тесно связаны с проблематикой пушкинских статей об «Истории» Н. Полевого: заметки эти по-своему продолжали спор с исторической концепцией Н. Полевого. Так, говоря в них о древней аристократии в России, о боярстве, Пушкин замечает: «Отчего *г. Полевой* говорит, что они были равные *со смердами*? Не знаю. Но самое молчание летописцев о их правах показывает, что права сии были ничем не ограничены» (XII, 206).

Известно, что взгляды Пушкина на дворянство, на его взаимоотношения с крестьянством претерпели определенную эволюцию. В ранних своих «Заметках по русской истории XVIII века» (1822) Пушкин подчеркивал, что «...существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян» (XI, 14); он исходил из убеждения, что «в желании лучшего» передовое дворянство и крестьянство объединяют общие интересы. В 1830-е гг. жизнь реально обнаружила перед поэтом всю противоположность их классовых интересов. Прокатившиеся крестьянские бунты, особенно в военных поселениях, воочию показали всю силу стихийной ненависти к дворянству в среде крестьян: «Действовали мужики...» (XIV, 205). Сознание этого классового антагонизма особенно укрепилось в процессе изучения материалов пугачевского восстания. Реальный опыт истории, документально обоснованный, свидетельствовал о том, что «выгоды» дворян и пугачевцев «были слишком противоположны (NB)» (IX, 375).

И все же, несмотря на все эти факты истории, где-то в глубине души Пушкин продолжал сохранять надежду на то, что пропасть эта не является извечной и непреодолимой, что могут сложиться условия для взаимного сотрудничества передового дворянства и народа в целях осуществления «великих

перемен». Мысль Пушкина 1830-х гг. бьется над поисками путей, ведущих к союзу передового дворянства с народом. В процессе этих поисков он попадал в заколдованный круг противоречий, из которого реального выхода не видел. Он пытался как-то совместить несовместимое: идею потомственного дворянства с идеей народного суверенитета. Объясняя генезис дворянства, Пушкин исходит не из теории завоевания (как у французских историков), а из договорных отношений с народом: народ сам наделяет дворян привилегиями с тем, чтобы дворянство защищало его интересы перед властями.

Впрочем утопичность этих представлений сознавал и сам поэт. Отсюда его скептический тезис, приводимый нами выше: «Чем *кончится* дворянство в республиках? Аристократическим правлением. А в государствах? рабством народа. а=в» (XII, 206). Иначе говоря, сочетать существование дворянства с благодеянием народа при любых формах государственности — республиканской или монархической — невозможно. Реально-го выхода из этой антиномии Пушкин не видел, его не открывала и сама действительность переходного времени.

В пушкиноведении убедительно показано, что поэт в 30-е гг. рассматривал потомственное дворянство в качестве силы, ограничивающей деспотизм самодержавия. Потомственность призвана служить гарантией его независимости. В понимании поэта ликвидация потомственного дворянства и подавление его чинами приведут к созданию слоя, целиком зависящего от деспотизма власти. Позиция Пушкина в этих вопросах становится особенно понятной, если учитывать ту ситуацию, которая сложилась в 30-е гг., после разгрома декабристов. К началу 30-х гг. определилась новая расстановка сил. Резко усилилась консолидация консервативного лагеря, объединившегося вокруг бюрократической монархии под идеологическим знаменем «православия, самодержавия и народности». В борьбе против передовых сил, под эгидой бюрократической монархии, сомкнулись при всех своих различиях и оттенках деятели помещичьей реакции, буржуазии и консервативного мещанства. При этом борьба против передовой дворянской интеллигенции и культуры, связанная, как правило, с отрицанием дворянской революционности, традиций декабризма нередко шла под флагом «плебейства», «народности», была неотделима от укрепления абсолютизма, чиновничьей монархии.

На этом фоне особенно резко выделяется позиция Пушкина, решительно выступавшего против усиления самодержавной бюрократии, против попыток превращения дворянства в чинов-

ничью прослойку. Позиция Гущкина, направленная против деспотизма власти, прикрывавшегося личиной псевдонародности, «плебейства», была своеобразным ответом на резко усилившееся идеологическое и культурное наступление буржуазно-мещанских кругов на гегемонию дворянства, наступление, которое на поверку оказывалось борьбой с идеями дворянской революционности, с достижениями передовой дворянской культуры².

Между тем проблема исторической преемственности культуры, сохранения национальных духовных ценностей встала особенно остро в условиях агрессивности реакционного мещанства³. В огульном отрицании исторических заслуг дворянства Пушкин видел проявление своеобразного нигилизма, неуважения к истории, к национальным традициям. А для Пушкина необычайно важно было утверждение преемственности поколений, передачи исторического опыта. Особое значение в этом же плане имел вопрос об эстетической культуре. Полемизируя с теми, кто нападал на «литературных аристократов», Пушкин подчеркивал и то обстоятельство, что большинство тогдашних писателей — из дворян: «...наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны» (XI, 229). «Простонародные» писатели отбрасывали такие достижения дворянской литературы, как исторически сложившаяся тонкая культура слова, чувство стиля, меры. Безвкусица, языковая разболтанность, разностильность, аляповатость и разухабистость — все это, связанное с забвением высоких традиций, стало модным в литературной жизни 1830-х гг.

Наконец, немалое значение имел также фактор нравственный. Передовая дворянская интеллигенция выработала высокие принципы чести, подлинного благородства, духовного бескорыстия, самоотверженности. В этих принципах не было в сущности узко сословного содержания. ореол нравственной чистоты окружает декабристов и их жен. Это были люди высокого духа, принципов долга, чести. Пушкин, который говорил

² В борьбе против пушкинского круга сомкнулись люди разных взглядов. Настроены они были весьма агрессивно. Так, Погодин писал Шевыреву о «Литературной газете: «Невежи и невежи!.. Где им!.. Мы дадим им знать себя, и они поклонятся нам» (Русский архив, 1882, кн. 3, № 6, с. 130); «Наши патриции не знают... в искусствах и науках» (ГПБ, ф. 850. С. Шевырев, ед. хр. 444, л. 33); Погодин — Шевыреву: «Мне не хочется, чтобы ты писал для Цветов: это не наши...» (Русский архив, 1882, кн. 3, № 5, с. 117).

³ См. Гинзбург Л. Я. Пушкин и Бенедиктов. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М. — Л., 1936, кн. 2.

о том, что «есть достоинство выше знатности рода, именно: достоинство личное...» (XI, 162), не мог не ценить идеи духовного величия личности. Примечательно, что, отстаивая звание дворянства, Пушкин имел в виду в первую очередь не материальные привилегии, а духовные, моральные ценности: «Но что есть общего между привязанностью лорда к своим феодальным преимуществам и бескорыстным уважением к мертвым прадедам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покровительства?» (XI, 161).

Подчеркивание духовного, нравственного начала приобретало особое значение в условиях наступления железного века с его торгашеством, цинизмом, аморализмом. В 30-е гг. шел процесс пересмотра моральных принципов. Булгаринская клика под флагом защиты нравственных устоев выворачивала их наизнанку, опошляла. Наступает пора разного рода фальшивых ценностей, обманчивой видимости, различного рода «псевдо»: псевдонародность, псевдоромантизм, псевдореализм... Аморализм булгаринского толка смыкался с цинизмом буржуазного делячества. В этом смысле показателен союз Полевого с Булгариным, их беспринципность и демагогия. В поведении Н. Полевого Пушкина возмущали торгашеские приемы, к которым он нередко прибегал и которые воспринимались не как случайные, а как черты поведения социальной группы. Чего, например, стоила шумная реклама и характер осуществленной им подписки на свою «Историю»! Или же такой факт: в том же году, когда Н. Полевой резко обрушился на карамзинскую «Историю», он восторженно приветствовал булгаринский роман «Иван Выжигин». Без тени смущения он патетически восклицал: «Вот истинный подарок русской публике. Ум, наблюдательность, приятный рассказ составляют достоинства оного; самая чистая нравственность дышит на каждой странице»⁴.

Об удушливой атмосфере падения нравов, цинизма, беспринципности Пушкин с болью скажет в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 г.: «...это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству, — поистине могут привести в отчаяние» (XVI, 393). В этих условиях защита благородства духа, достоинства, чести, связывавшихся с наследием передовой дворянской интеллигенции, приобретала значение, выходявшее далеко за рамки узко сословных проблем.

⁴ Барсуков, кн. 2, с. 333.

Особая сложность для понимания пушкинских философско-социологических взглядов, в том числе на дворянство, во многом определяется тем, что они формировались в переходный период, когда в социальной структуре русского общества шел процесс перегруппировки сил, менялся состав и самого дворянства, и его различных прослоек. В этих условиях старые понятия и определения постепенно наполнялись новым содержанием. Естественно, что философско-историческая и философско-социологическая мысль поэта находится в постоянном движении, отражая настойчивость его поисков. Не столько окончательные решения, сколько незавершенность характеризует ее. Статьи, заметки и наброски Пушкина философско-социологического содержания заключают не итоги, не результаты, к которым пришел поэт, а самый процесс искания истины, дают нам почувствовать за всеми утопическими построениями страстную мечту мыслителя-гуманиста о единении передовой интеллигенции и народа, о сочетании высокой духовной культуры с народностью.

Итак, в результате сопоставления исторических судеб России и Запада и критической проверки теорий французских историков в свете реального опыта Пушкин пришел к выводу, что русская история требует особого подхода. Он обнаружил в ней, как мы видели, иное соотношение социальных и исторических сил, иную общественную структуру, чем те, что открывались в истории западноевропейских стран и были воссозданы в работах историков французской школы. Выяснилось, что сама методология данной школы не может быть механически применена к материалу русской истории. «Алгебраически» ясным и предельно четким формулам и построениям Гизо, пригодным для объяснения фактов западноевропейской истории, Пушкин противопоставляет применительно к русской истории необходимость «иной формулы», основанной на своеобразной реабилитации непредвиденного, случайного, неожиданного, еще неведомого («Провидение не алгебра») ⁵. Поэт как бы хочет сказать: сущность истории Запада обнажилась уже с достаточной четкостью и определенностью; Россия же — страна еще не раскрывшихся возможностей, во многом неразгаданной судьбы. В ней многое еще скрыто, затаено до времени, она вся в будущем, в ожидании неведомого, неясного.

⁵ См. в этой связи замечания Б. М. Эйхенбаума в его статье «Черты летописного стиля в литературе XIX века» (Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1958, т. 14).

Кроме того, следует иметь в виду, что дифференциация, расстановка социальных сил и структура общественных отношений в истории Запада характеризовались в целом гораздо большей четкостью, определенностью, чем в России, где такой «алгебраической» ясности не было. Корни этого различия уходят еще в глубь истории, в своеобразие западноевропейского и русского средневековья. Напомним, что, характеризуя феодальную систему на Западе, Пушкин подчеркивал: в ней «все определено и известно» (XI, 436). В России нет такой определенности и четкости; здесь обнаруживается более сложное переплетение промежуточных, еще не оформившихся прослоек, границы которых зыбки.

Напряженные раздумья Пушкина над судьбами России и Запада, обострившиеся на рубеже 20-х и 30-х гг., были связаны прежде всего со стремлением найти ответы на вопросы: что ждет Россию в будущем, что несет она миру, что призвана сказать человечеству? Вместе с тем решение этих проблем в сознании поэта было тесно связано с решением проблем ее литературного, художественного развития. История России требует другой формулы — это значит также, что своей особой формулы требует и русская литература — иных эстетических форм и критериев, иной художественной методологии. Для Пушкина вопрос об исторических судьбах России, о том, что несет она миру, был неотделим от другого вопроса: каковы место и роль русской литературы в эстетическом опыте человечества, в чем ее национальное своеобразие? А если быть более точным: идя какими путями можно плодотворно строить русскую литературу как искусство национальное и общечеловеческое? Ответы на эти вопросы Пушкин ищет, опираясь на принципы историзма.

Примечательно, что размышления над собственно историческими проблемами идут у Пушкина параллельно с раздумьями над историей литературы — под знаком сопоставления литературного опыта России с художественным опытом других народов. Для поэта ясно, что характер той или иной национальной литературы находится в прямой зависимости от исторических судеб народа, страны.

Стремясь выявить своеобразие истории России, Пушкин, как мы видели, рассматривал ее в сравнении с ходом истории других стран. Аналогичным путем идет он, анализируя ее литературное развитие. Наглядное тому подтверждение — незавершенная статья «О ничтожестве литературы русской»

(1834)⁶. Статья эта интересна тем, что в ней литературный процесс рассматривается в неразрывной связи с историческим и общественным развитием: именно так освещается литературная эволюция во Франции. Что же касается вопроса о своеобразии русской литературы, то и он, по мнению Пушкина, должен был решаться исходя из особенностей русской истории, места России в мировом историческом процессе⁷.

Пушкин обозревает ход развития европейской литературы с целью выявить значение вклада России в мировое искусство слова. Отстаивая национальное своеобразие русской литературы, Пушкин не отрывал ее от общемирового художественного развития. Характерно, что именно в 1830-е гг., одновременно с усиленными поисками национального своеобразия русского искусства, Пушкин особенно широко обращается к достижениям мировой литературы — к наследию античного мира, к библейской традиции, к опыту Возрождения.

Сила и глубина исторического мышления Пушкина проявлялись в том, что поиски поэтом «формулы» русской литературы были обращены к живой современности, к художественной практике, связаны с поисками самобытных национальных форм и стиля. Для Пушкина вопрос о ценности произведений искусства уже не может рассматриваться безотносительно к тому, насколько верно выражают они правду истории, насколько сама художественная сущность их соответствует духу народа. В этом отношении исключительный интерес представляет отзыв Пушкина о «Ермаке» Хомякова: «В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии» (XI, 180). Следовательно, Пушкин признает, что в произведении Хомякова есть «прелесть поэзии», однако такая абстрактная поэтичность, не связанная с национальными традициями, с характером русской жизни, не может быть принята. Она несостоятельна, бесплодна. Необходимо, чтобы сами формы и стиль искусства соответствовали нравам и духу народа, его историческим судьбам.

Пушкин стремится в своем творчестве раскрыть русский мир в его неповторимом своеобразии, в формах национального стиля. Но рисует ли он русскую осень с ее багрянцем и золо-

⁶ Эта статья является развитием более раннего очерка «О поэзии классической и романтической» (1825). См. Бонди С. М. Историко-литературные опыты Пушкина. — Лит. наследство, 1934, № 16—18.

⁷ См. в этой связи: Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы. 2-е изд. Л., 1967, с. 108.

том, Россию «Повестей Белкина» или обращается к традициям державинской лиры, воссоздавая облик русского восемнадцатого века, вельможного и одновременно мужицкого, мятежного, русская тема и русский стиль возникают в пушкинском творчестве 1830-х гг. в аспекте мировой истории и культуры, которые поэт воспринимает с русской и одновременно общечеловеческой точки зрения.

Стремлением опереться на традиции исторического и культурного прошлого, найти свои национальные формы и стиль объясняется и глубокий интерес Пушкина к древнерусской словесности, в частности к летописи. Особое место в этом же плане занимал в сознании поэта и Карамзин, автор «Истории государства Российского». В тех философско-исторических и литературных спорах, которые с такой силой разгорелись на рубеже 1820-х и 1830-х гг., вопрос о Карамзине и его «Истории» оказался одним из наиболее злободневных.

2

Среди старших современников Пушкина, пожалуй, мало кто вызывал к себе столь пристальный, столь постоянный и неостывающий интерес со стороны поэта, как знаменитый историограф. Карамзин — автор «Истории государства Российского» — проходит через всю его творческую жизнь, начиная от ранних заметок («Г-н Карамзин неправ...»), отзвуков чтения «Истории» в «Руслане и Людмиле», эпилоге «Кавказского пленника» и замысле поэмы о Мстиславе и кончая статьями и заметками Пушкина последних лет, где он говорит о «бессмертной книге» Карамзина, о «чистой, высокой славе» «великого нашего соотечественника» (XII, 136, 72, 185). Восприятие карамзинской «Истории» не оставалось у Пушкина неизменным — оно менялось вместе с жизнью, с общей эволюцией поэта, становилось глубже, диалектичнее. И все-таки, несмотря на то, что конкретные оценки отдельных сторон «Истории» менялись, уточнялись общие характеристики и формулировки, переставлялись акценты, суждения Пушкина о Карамзине — а их немало — имеют между собою несомненную внутреннюю связь и единство. Можно говорить не просто о сумме случайных, разрозненных высказываний, а об определенной, целостной пушкинской концепции, значение которой далеко не всегда учитывается в полной мере.

Что же цементируют разнородные и разновременные заметки и замечания Пушкина о Карамзине? Какая главная

мысль проходит через его высказывания, составляя их лейтмотив? Такой ведущей, стержневой мыслью является мысль о большом значении монументального труда Карамзина для русской культуры. Эту мысль Пушкину приходилось защищать, с одной стороны, от тех, кто, указывая на консервативную политическую тенденциозность историографа, отрицал положительное значение его труда вообще, с другой — от тех, кто, закрывая глаза на внутреннюю противоречивость «Истории», становился на путь безудержно панегирического ее восхваления.

Пушкин в сущности первый подошел к оценке «Истории» во всей ее реальной сложности, стремясь понять как слабые, так и сильные ее стороны. И примечательно, что наиболее активно эта точка зрения отстаивалась поэтом после 14 декабря 1825 г., в условиях наиболее трудных, далеко не благоприятствовавших подлинно объективному анализу значения карамзинского труда. В это время реакция усиленно стремилась использовать авторитет историографа для оправдания жестокой расправы с декабристами, для укрепления абсолютизма и осуждения малейшего проявления недовольства. С этой целью она всячески поднимала на щит монархическую концепцию Карамзина и полностью игнорировала все то действительно ценное, что объективно содержалось в его «Истории»⁸.

И вот именно в этой обстановке Пушкин трижды повторяет свою необычайно емкую формулу: «История Государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» (XI, 57). Из автобиографических заметок (XII, 306) Пушкин перенес ее в записку «О народном воспитании» (XI, 47), а затем в публицистическое произведение «Отрывки из писем, мысли и замечания», которое опубликовал в «Северных цветах» на 1828 г. Можно, конечно, по-разному истолковывать приведенную формулу, но вряд ли ее следует игнорировать или считать случайной. Позиция Пушкина в рассматриваемом вопросе была настолько принципиальной, что, несмотря на всю щекотливость ситуации, он счел нужным высказать ее в печати и выразить свое несогласие с замечаниями о карамзинском труде Н. Муравьева и М. Орлова, рукописный разбор «Истории» и письма которых были

⁸ См. Мейлах Б. С. Из политической биографии Пушкина после восстания декабристов. — В кн.: Проблемы современной филологии. М., 1965, с. 427—430.

широко известны. Здесь нет необходимости входить в сравнительный анализ позиции Пушкина и декабристов по отношению к Карамзину. Это особая тема. Следует лишь подчеркнуть: при всем своеобразии подхода к карамзинской «Истории» Пушкин, как и декабристы, не принимал охранительной концепции историографа. Идея спасительности самодержавия, представление о народе как воплощенной стихии смирения, монархической преданности — все это было глубоко чуждо поэту.

И все-таки Пушкину было ясно, что консервативная политическая доктрина не исчерпывает объективного смысла и значения карамзинского труда, того значительного, что в нем есть. Эта диалектическая сущность позиции Пушкина нашла свое выражение в его автобиографических записках: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, — казались им верхом варварства и унижения» (XII, 306). О чем свидетельствует эта запись? Во-первых, о том, что Пушкин сам не разделяет карамзинских размышлений в пользу самодержавия и, следовательно, его защита Карамзина и расхождение с декабристской критикой ничего общего не имеют с позицией деятелей реакции. И, во-вторых, объективное содержание «Истории» не тождественно отмеченным монархическим размышлениям автора.

Из множества аналогичных примеров, обнаруживающих диалектичность и гибкость позиции поэта, выделим еще один, отражающий более позднюю стадию восприятия им Карамзина. В письме к П. Плетневу от 21 января 1831 г. Пушкин признавался: «Карамзин под конец был мне чужд...» (XIV, 147). Он подчеркивал, следовательно, свое расхождение с историографом. А между тем почти одновременно Пушкин публикует «Бориса Годунова» с явно демонстративным посвящением «драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина». И это был не просто жест. Или, точнее сказать, — это был жест, за которым таился определенный подтекст.

Именно теперь, на рубеже 20-х и 30-х гг., отношение к Карамзину получило новый поворот; оно теснейшим образом связывалось с дискуссиями по важнейшим философско-историческим вопросам: Россия и Запад, место России в мировом историческом процессе, судьбы русской государственности и т. п. Как известно, оппоненты Карамзина единодушно указы-

вали на методологическую устарелость его «Истории», на отсутствие у Карамзина необходимого философского подхода к истории. Казалось бы, такая позиция критиков карамзинской «Истории» должна была импонировать и Пушкину, стоявшему на уровне высших достижений философско-исторической мысли времени, глубоко изучавшему, в частности, труды французских историков эпохи реставрации. А между тем Пушкин активно защищает карамзинский труд, ставит его выше сочинений «наших историков с высшими взглядами» (XII, 136). Как видно, с точки зрения Пушкина, карамзинская «История» содержала в себе нечто такое, что не могли заменить «историки с высшими взглядами».

Характерно, что Пушкин все время как-то учитывает опыт историографа. В спорах с оппонентами (Н. Полевым, П. Чаадаевым и др.) он то и дело ссылается на Карамзина, черпает аргументы из его «Истории». Выше мы показали, что в решении целого ряда вопросов русской истории точка зрения Карамзина оказывалась Пушкину ближе, чем те решения, которые выдвигались оппонентами поэта (таковы, например, вопросы о соотношении европейского и восточного начал, о системе правления Новгорода и др.). Труд Карамзина, раскрывающий богатство исторического прошлого России, воспринимался Пушкиным и как противоядие нигилистической концепции П. Я. Чаадаева. Не случайно, конечно, посылая П. Я. Чаадаеву экземпляр «Бориса Годунова» с посвящением Н. М. Карамзину, Пушкин счел необходимым особо подчеркнуть, что шлет свое любимое произведение: таким образом в споре с чаадаевским историческим нигилизмом поэт использовал и Карамзина. Но и здесь мы видим, что Пушкин одновременно в чем-то не соглашается с Карамзиным, принимая сторону Чаадаева. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно вчитаться в «Историю села Горюхина» и ощутить ее подтекст. В скептической усмешке горюхинского летописца, как тонко подметил М. П. Алексеев, есть что-то от скорбной патетики чаадаевских «Писем»⁹.

Так же, как и Карамзина, Пушкина волнует история становления государственного единства России (позднее, в письме к Чаадаеву, он будет говорить о ее «движении к единству», «к русскому единству, разумеется», XVI, 393). Но принципиальное отличие от Карамзина с его апологией самодер-

⁹ См. Алексеев М. П. К «Истории села Горюхина». — В кн.: Пушкин. Статьи и материалы. Одесса, 1926, вып. 2, с. 74.

жавия заключалось в том, что Пушкин видит исторически меняющиеся формы государственности, а главное — в центре его раздумий и творчества проблемы социального бытия, история народа, судьба личности — все то, что карамзинская «История» или обходила, или затрагивала односторонне.

Противоречивость карамзинской «Истории»¹⁰, которую одним из первых глубоко раскрыл Пушкин, имела двоякий характер. Прежде всего речь идет о противоречивости самой политической концепции, а шире — мировоззрения Карамзина, как оно отразилось в его труде. Оправдывая принцип самодержавия необходимостью государственного единства России, Карамзин отграничивал самодержавие от тирании. Он неоднократно говорит об обязанности правителей руководствоваться интересами страны и своих подданных, о необходимости «твердых государственных законов»¹¹. Вместе с тем эти бесспорно связанные с просветительскими традициями концепции переключаются Карамзиным в отвлеченный моральный план. Такое сведение государственного закона к моральным обязанностям монарха открывало широкий простор для произвола и превращения власти в тиранию. Эта особенность карамзинских взглядов была пронизательно отмечена Пушкиным. «Г-н Карамзин неправ, — писал он. — Закон ограждается страхом наказания. Законы нравственные, коих исполнение оставляется на произвол каждого, а нарушение не почитается гражданским преступлением, не суть законы гражданские» (XII, 189):

Указанная двойственность в системе карамзинских взгля-

¹⁰ Особенности «Истории» и своеобразие авторской позиции в ней охарактеризованы в работах: Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX веке. — Русская литература, 1962, № 1; Лотман Ю. М. Пути развития русской прозы 1800-х—1810-х годов. — Учен. зап. Тартуск. ун-та, 1961, вып. 104; Тойбин И. М. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в творческой жизни Пушкина. — Русская литература, 1966, № 4; Вацуро В. Э. Подвиг честного человека. — Прометей, 1968, № 5; Лузянина Л. Н. «История государства Российского» Н. М. Карамзина и трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» (К проблеме характера летописца). — Русская литература, 1971, № 1; ее же. Об особенностях изображения народа в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. — Учен. зап. Ленингр. ун-та. Сер. филол. наук, 1971, вып. 76.

¹¹ Напомним в этой связи характеристику, которую дал карамзинской «Истории» Н. П. Огарев: «...раскапывая русскую летопись, Карамзин перекладывает ее на язык Рейналя и явление Иоанна Грозного обсуживает с точки зрения общей французской статьи XVIII века — о вреде деспотизма». И далее: «Карамзин вносит общее либеральное содержание Вольнеевых «развалин» в русскую историю...» (Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861, с. XXI).

дов осложнялась в «Истории» противоречиями, обусловленными художественной природой этого труда, точнее — различием между его образным строем и субъективными авторскими убеждениями. Эта особенность также была впервые глубоко охарактеризована Пушкиным: по словам поэта, в «Истории» Карамзина «верный рассказ событий» нередко оказывается сильнее, нагляднее, убедительнее субъективных намерений автора. И действительно, мало кто в то время рисовал столь зловещие и впечатляющие картины тиранства власти, как Карамзин. Сам он всячески апеллировал к отвлеченному нравственному закону, а между тем «верный рассказ событий» в «Истории» то и дело обнаруживал несостоятельность и шаткость надежд автора на нравственную узду как средство, способное предотвратить превращение самодержавия в деспотизм.

Так, например, в изображении Карамзина Борис Годунов предстает вначале чуть ли не в качестве идеального просвещенного монарха: «... он хотел именоваться отцом народа... отцом сырых и бедных... другом человечества»¹² (примечательна сама терминология). Но далее выясняется, что он становится тираном, немногим отличающимся от Грозного: «Допрашивали (жертв. — И. Т.), ужасали пыткой ...мучили, терзали слуг их безжалостно и бесполезно: никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других»; «Печальное время Борисова царствования, уступая Иоаннову в кровавой войне, не уступало ему в беззаконии и разврате»¹³.

При рассмотрении вопроса об отношении Пушкина и декабристов к «Истории» Карамзина, естественно, в первую очередь внимание концентрируется на ее политической проблематике. Именно в решении острых вопросов политической истории России особенно наглядно обнажались принципиальные расхождения между ними. Однако как ни значительна собственно политическая проблематика «Истории», ею все же не исчерпывается содержание этого труда. Немалое место в карамзинской «Истории» отведено, в частности, проблемам моральным. И это не случайно.

Следует иметь в виду, что морально-философская проблематика занимала весьма существенное место в идеологической жизни того времени; она глубоко волновала также и

¹² Карамзин Н. М. История государства Российского. 3-е изд. СПб., 1830, т. 11, с. 101—102.

¹³ Там же, с. 111, 117.

представителей передового лагеря. Мысль о необходимости морального перевоспитания, осуждения индивидуалистической этики, аморальности власти, размышления о падении нравов и разобщении морали и политики, которые в идеале должны сойтись, слиться, — все это, как широко показали в своих работах исследователи, занимало огромное место в идеологии декабризма, особенно на раннем этапе, и было преемственно связано с традициями русского просветительства.

В своей монографии «Вольное общество любителей российской словесности» В. Г. Базанов собрал большой материал, ярко освещающий эту сторону идеологии раннего декабризма. Придавая важное значение нравственному фактору, члены «Вольного общества» с горечью говорили о губительном влиянии татарского нашествия на нравственность, о столь же губительном, развращающем влиянии деспотизма.

Если обратиться к «Истории» Карамзина, то окажется, что в ряде пунктов обнаруживается переключки с той моральной проблематикой, которая выростала на почве общепросветительской идеологии России начала века. Было бы, разумеется, ошибкой не видеть принципиального различия между подходом к решению моральных проблем в передовом, радикальном лагере, не говоря уже о декабристах, и освещением их в труде Карамзина. Если первых отличает стремление теснее связать мораль с политикой, подчинить проблему нравственного воспитания политической борьбе за преобразование России, то Карамзин рассматривает сферу морали изолированно, пытаясь скорее противопоставить ее политике. И все же было бы несправедливо не замечать общих моментов, которые объективно имели место и являлись выражением той специфически национальной традиции нравственной чистоты, которая, будучи связанной с отрицанием индивидуалистической морали, придает русской классической литературе печать неповторимого обаяния.

Так, Карамзин проводит мысль о губительном воздействии угнетения, деспотизма на нравственность. Он пишет, что следствием татарского ига было «нравственное унижение людей. Забыв гордость народную, мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых», и приходит к более общему выводу: «...чувство угнетения, страх, ненависть, господствуя в душах, обыкновенно производят мрачную суровость во нравах»¹⁴. На страницах своей «Истории» Карам-

¹⁴ Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 5, с. 424, 426.

зин отмечает вероломство, хитрость и лицемерие властителей, обнаруживает глубокий разрыв между политикой и нравственностью. Не только такие тираны, как Грозный, но даже лучшие из властителей, оказывается, нередко действовали коварно и жестоко.

Особое значение в связи с рассматриваемым вопросом приобретает та высокая нравственная оценка, которая дана на страницах карамзинской «Истории» очагам вечевой вольности — Новгороду и Пскову. Здесь историограф видит образцы добродетели, мужества, подлинной чести. Утверждая, что «новгородцы, имея правление народное... отличались благородными качествами от других россиян, униженных тиранством монголов»¹⁵, Карамзин спорил, с одной стороны, с теми историками и публицистами, которые отвергали возможность формирования в древней Руси таких нравственных категорий, как чувство чести, а с другой — с теми отъявленными ретроgrадами, которые, понося вечевой строй, тщились доказать, будто он развращает человека нравственно. Так, например, П. И. Сумароков писал в «Новгородской истории»: «Нельзя одобрить душевных качеств новгородцев. Они, забыв добрые свойства славян, предков своих, являли себя во всем противоположными... Народное правление и своеволие погружали их в леность»¹⁶. Он говорит о цепи «вероломства», «низости душ», «неблагодарности» новгородцев, отсутствии у них «честности», «достоинств» и т. д.

Карамзин отмечал разрушение высокой народной этики под влиянием денежных отношений, показывал их враждебность подлинной нравственности. Он писал: «Падение Новгорода ознаменовалось утратою воинского мужества, которое уменьшается в державах торговых с умножением богатства... Счастливым спасенный от Батыя и почти свободный от ига монголов, он более и более успевал в купечестве, но слабел доблестью»¹⁷. Как бы противоречиво и ограничительно ни истолковывал всю эту моральную проблематику сам Карамзин, следует признать, что освещение ее на страницах «Истории» имело определенное значение и оказало положительное влияние на русскую художественную литературу.

¹⁵ Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 6, с. 159.

¹⁶ Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете, 1890, кн. 2, разд. 3, с. 26—27.

¹⁷ Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 6, с. 157—158

В тех ожесточенных спорах, которые с самого начала сопровождали «Историю» Карамзина, многое усугублялось необычностью ее жанровой природы, всей ее структуры в целом. Своеобразие карамзинской «Истории» заключалось прежде всего в тесном переплетении в ней двух начал, двух планов: собственно научного, историографического, и литературного, художественного. То, что Карамзин на историографическом материале решал одновременно и задачи чисто художественные и делал это вполне сознательно, видно, помимо всего, из предисловия («...столь много критикованного и столь еще мало понятого», как заметил Пушкин, XI, 120), в котором он формулировал цели и задачи своего труда. История по мысли Карамзина, должна не только приносить «пользу», т. е. иметь познавательное и воспитательное значение, но и вызывать соответствующее эстетическое чувство, рисовать живую картину «случаев и характеров».

Создание подобного труда не может объясняться случайностью или только личными особенностями дарования Карамзина. Это было отражением общего процесса сближения литературы и искусства с научной мыслью. Такое сближение, естественно, должно было осуществиться прежде всего на почве, наиболее общей для названных областей, — на почве истории. Труд Карамзина отражал одну из стадий процесса пересечения и взаимопроникновения истории и литературы. Отсюда жанровая непроясненность сочинения, в котором оба плана — историографический и литературный — еще внутренне не дифференцировались, не отграничились.

Высокие литературные достоинства карамзинского труда были столь очевидны, что признавались всеми¹⁸. Но при этом возникал целый ряд немаловажных вопросов. Является ли художественный элемент «Истории» лишь орнаментальным дополнением, неким «довеском», своеобразным внешним «художественным украшением», или же речь должна идти о чем-то более значительном, весомом — об особой художественной структуре. Ведь многие критики, подходившие к труду Карамзина исключительно с точки зрения научно-историографической, усматривали в отмеченном художественном элементе именно некое несущественное дополнение, являющееся не то сомнительным достоинством, не то очевидным

¹⁸ По словам Н. И. Тургенева, карамзинская «История» «читается как роман» (Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М. — Л., 1936, с. 261).

недостатком — сознательной попыткой замаскировать, закамуфлировать, похитрее упрятать консервативные идеи.

Пушкин был первым, кто подошел к оценке «Истории» Карамзина с принципиально иных позиций, прямо, подчеркнув ее художественную природу. Для Пушкина Карамзин здесь прежде всего писатель, а его исторический труд — художественное произведение. И именно поэтому, как справедливо отметил, в частности, Г. П. Макогоненко, содержание его, естественно, шире и глубже субъективных взглядов автора. Только признанием художественной природы карамзинской «Истории» можно объяснить, почему, по словам Пушкина, «несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия» в ней «красноречиво опровергнуты верным рассказом' событий» (XII, 306). Пушкин не только обратил внимание на художественную природу карамзинской «Истории», но и первым отметил, что в основе ее лежит летописная традиция.

Следует заметить, что само по себе наличие художественного начала в историографических трудах — явление весьма характерное для мировой исторической науки, восходящее к древним образцам. Но Карамзин, создавая свой труд, обратился к национальному источнику — русской летописи. Он ставил перед собой задачу — воссоздать прошлое в формах летописного художественного мышления. Именно летопись определила колорит, краски, эстетические принципы «Истории» Карамзина. Этим, при всех принципиальных расхождениях, труд Карамзина и был чем-то близок творческим исканиям самого поэта. Сказанным объясняется тот особый интерес, который проявлял Пушкин к художественной стороне карамзинской «Истории». Он склонен был даже несколько преувеличивать достижения Карамзина в овладении летописным стилем: говоря о Карамзине, поэт несомненно имел в виду прежде всего свои собственные художественные поиски. «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец», — писал он в статьях об «Истории русского народа» Н. Полевого (XI, 120)¹⁹.

¹⁹ Вопрос о значении летописной традиции для Карамзина освещен в статье Б. М. Эйхенбаума «Черты летописного стиля в русской литературе XIX в.» (Труды Отдела древнерусской литературы, 1958. т. 14), а также в работах Г. О. Винокура, Б. П. Городецкого, Ю. М. Лотмана, Л. Н. Лузяниной. Рассматривается эта тема и в книге Б. И. Бурсова «Национальное своеобразие русской литературы» (2-е изд. М. — Л., 1967).

Русское летописание — область более широкая, чем историография. Летопись, будучи одним из историографических памятников древней Руси, являлась одновременно и даже в известном отношении преимущественно памятником литературным, художественным. Она запечатлела богатый исторический и художественный опыт народа, его нравственные понятия, эстетические идеалы. В летописи Карамзин нашел национальную самобытную литературную традицию, имевшую непреходящее значение.

Как известно, русская летопись — жанр синтетический, вобравший в себя разнообразные формы и виды древнерусской письменности и необычайно тесно связанный с устной народной поэзией²⁰. Современные исследователи (И. П. Еремин, Д. С. Лихачев) выделяют в характере летописного повествования две основные струи: народно-эпическую и агнографическую. Отзвуки их нетрудно обнаружить и в карамзинской «Истории» — пусть в преображенном, осложненном виде. Нередко образы князей рисуются Карамзиным в соответствии с агнографическим канонам. Вот, например, как изображается Дмитрий Донской: «Целомудренный в удовольствиях законной любви супружеской, он до конца жизни хранил девическую стыдливость, и ревностный во благочестии... ежедневно ходил в церковь, всякую неделю приобщался святых таинств и носил власяницу на голом теле»²¹. Перед нами в сущности канонический портрет подвижника. Напротив, в духе героического повествования изображается въезд в столицу Бориса Годунова — он едет на победной колеснице, подобно герою эпической поэмы. То и дело в карамзинском рассказе находят отражение элементы героического воинского повествования, преломленные опять-таки через призму летописи: «Земля дымилась кровию»; «Затрубили воинские трубы; солнце закатилось, и шум битвы раздался». Совсем в духе летописцев включает Карамзин в свою «Историю» рассказы о видениях, различного рода знамениях, чудесах, страшных явлениях. Но дело не только в этом.

Летопись, как известно, была тем стержневым жанром, который вбирал в себя, непрерывно пополняясь и обновля-

²⁰ См. Еремин И. П. «Повесть временных лет». Л., 1946; Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М. — Л., 1947; его же «Повесть временных лет». М. — Л., 1950.

²¹ Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 5, с. 120.

ясь, все наиболее значительные явления древнерусской письменности и устного народного творчества. Русское летописание — это своеобразное живое древо всей древнерусской литературы. Отвергая наличие сложившейся художественной литературы в древней Руси, Пушкин, однако, неизменно выделял среди памятников древнерусской письменности летописи (наряду с памятниками народной поэзии и «Словом о полку Игореве»). По существу для Пушкина летопись аккумулировала эстетический и нравственный опыт древней Руси, приобретающий первостепенное значение при решении задачи создания новой русской литературы. Но в этом же плане большое значение имела и карамзинская «История» — произведение «последнего летописца». Труд Карамзина, подхвативший и продолживший летописную традицию, явился также своеобразным аккумулятором опыта древнерусской литературы; он заключал в себе картины древнего быта, памятники народной поэзии, старой письменности. В самом деле, в «Историю» Карамзин включил поэтические рассказы о кончине Олега, о Гориславе-Рогнеде, о Борисе и Глебе, подробный рассказ об ослеплении Василька, поучение Мономаха, рассказ о походе князя Игоря, о Евпраксии, о взятии Рязани, о Евпатии Коловрате, изложение «Задонщины» и т. п. И все это подано не в виде сухого пересказа, а поэтично, с соответствующим настроением, интонацией, а нередко и с обширными, мастерски сделанными извлечениями.

Таким образом, «История» Карамзина стала своеобразным энциклопедическим сводом памятников древнерусской литературы и в этом своем качестве сыграла пока еще в полной мере не выясненную роль в литературной жизни конца 10—30-х гг., когда в связи с формированием новой русской литературы и борьбой за ее народность и национальную самобытность вопрос о древнерусской традиции приобрел существенное значение.

Книга Карамзина, напитанная духом летописи, вобравшая в себя картины и образы древнерусской литературы, воссоздавала не только историю русской государственности, но в какой-то мере и обобщенный образ русской земли, страдающей от княжеских междоусобиц, набегов степняков, татарского ига, вероломства и жестокостей деспотов, вынесшей неисчислимые беды. Особенно печальна земля русская в пору татарского лихолетья: «...села исчезали; головы жителей, по словам летописцев, падали на землю как трава ско-

шенная»²². Впрочем не менее горестны страницы, рисующие и ужасы внутреннего деспотизма.

Через все эти испытания прошла Русь. Глубокая вера в нее, гордость за родную землю — все это питало тот философско-исторический оптимизм, который составляет основу летописной философии истории и которым отмечен также карамзинский труд. Этот аспект книги был особенно близок Пушкину — автору «Бориса Годунова». Не случайно, говоря о роли карамзинской «Истории» в создании трагедии, Пушкин особо подчеркивал: «...Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий...» (XI, 140). Особое значение имел для Пушкина интерес Карамзина к этическому строю русской летописи, его стремление запечатлеть высокие нравственные качества русского человека.

Летописная точка зрения, воспринятая Карамзиным, разумеется, включала одновременно с этическим критерием и элемент консервативной патриархальности. Но Пушкин, как видно, не считал его главным. Во всяком случае он настойчиво возражал против попыток истолковать в духе «аллюзий», «применений» сентенции, вложенные Карамзиным в уста летописцев. Говоря об использовании Карамзиным летописной традиции, Пушкин писал: «...критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике. <...> Нравственные его размышления, своею иноческого простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял, как краски, но не полагал в них никакой существенной важности» (XI, 120). В литературе утвердилось расширительное и весьма неточное толкование этой мысли Пушкина. Считается, что поэт указывает здесь на внешнее, поверхностное усвоение Карамзиным традиции летописи.

Разумеется, если говорить о характере использования летописной традиции, духа и строя летописи, то бесспорно, что Пушкин усваивал их гораздо глубже Карамзина, у которого сохраняется явный налет стилизации. Однако в данном, конкретном примере, в контексте статьи, Пушкин имел в виду другое. «Как краски», т. е. внешне, Карамзин использует не летописную традицию вообще, но именно апофегмы летописца, т. е. его нравственно-назидательные размышления. Не следует, хочет сказать Пушкин, отождествлять содержание «Истории» Карамзина с апофегмами, взя-

²² Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 3, с. 328.

тыми им из летописи, не следует воспринимать их с точки зрения современных «применений».

Отстаиваемое нами толкование пушкинской мысли находит косвенное подтверждение и в том, с какой настойчивостью Пушкин выступал против «аллюзий» в восприятии созданного им самим образа летописца Пимена, его «сентенций». В письме к издателю «Московского вестника» Пушкин выражал недовольство тем, как были восприняты читателями суждения Пимена: «Люди умные обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми...» (XI, 68). Да и в целом о «Борисе Годунове» он писал: «Хотите ли знать, что еще удерживает меня от напечатания моей трагедии? Те места, кои в ней могут подать повод применениям, намекам, allusions» (XI, 68).

Как было отмечено, Пушкину в соответствии с его собственными творческими исканиями импонировало стремление Карамзина запечатлеть, опираясь на летописную традицию, высокие нравственные качества русского человека. Конечно, политические взгляды историкографа не могли не сказаться в решении этого вопроса, обуславливая и в данном случае определенный ракурс, принципы отбора и истолкования материала, понимание нравственного идеала. И все же отдельные черты нравственного облика русского человека, донесенные летописью, он отразил. Карамзина привлекают в нем цельность, прямоту, духовное подвижничество; он стремится показать, что эти качества сохранились неизменными на протяжении веков, передаваясь от поколения к поколению: «Следы древних обычаев сохраняются в течение многих веков, и самое отдаленное потомство наследует нравы своих предков»²³. В плане этическом Карамзина привлекают «реки душевного младенчества», т. е. дотатарский период Руси.

Многое в этом было близко и важно Пушкину, стремившемуся постичь грани национального характера. Наиболее красноречивым фактом, свидетельствующим об огромном значении для поэта летописной традиции, воспринятой им (по его собственному признанию) также и через посредство карамзинской «Истории», служит, конечно, образ Пимена. Напомню известное замечание о нем Пушкина. «Характер Пимена не есть мое изобретение, — писал поэт издателю «Московского вестника». — В нем собрал я черты, пленив-

²³ Карамзин Н. М. История государства Российского, т. 1, с. 65.

шие меня в наших старых летописях: простодушие, умиленная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое. . . совершенное отсутствие суетности, пристрастия — дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших...». И в другом месте: «Мне казалось, что сей характер все вместе нов и знаком для русского сердца; что трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов. . .» (XI, 68)

Итак, Пушкин прямо говорит, что Пимен создан им на основе и летописей, и «Истории» Карамзина, что в этом образе запечатлены черты русского национального характера, постигнутого в его развитии и постоянстве, обновляющегося и вместе неизменного. В нем Пушкин выделяет добродушие, отсутствие суетности, нечто младенческое и мудрое, т. е. многое из того, что привлекало также и Карамзина.

Означает ли это, что в понимании Пушкина русский национальный характер исчерпывается названными чертами? Конечно нет. Наряду с образом Пимена поэт создает песни о Разине; тогда же, когда писалось письмо к издателю «Московского вестника», где содержится приведенная характеристика Пимена, Пушкин обращается к могучему и деятельному Петру; позднее, в 1830-е гг., — к образу Пугачева. Таким образом, меньше всего следует как-то абсолютизировать высказывания Пушкина о летописцах и Пимене и пытаться ставить знак равенства в рассматриваемом вопросе между поэтом и Карамзиным.

Образы русских летописцев (и Пимена), воплотившие черты нравственного идеала, сложившегося исторически и донесенного через столетия, не исчерпывая отнюдь пушкинского представления о русском национальном характере, приобретали особый смысл и значение в условиях «железного века». Своей чистотой они противостояли торгашеству, эгоизму, лицемерию, а своей цельностью — различным проявлениям «раздробленности», духовной раздвоенности личности, всему тому искажению человеческой «природы», которое особенно наглядно нес романтизм 1830-х гг. в его разновидностях: философско-идеалистической и «неистойной словесности». Примечательно в этой связи, что именно в письме к издателю «Московского вестника» — журнала, который после 1825 г. был одним из теоретических центров философского романтизма, Пушкин одновременно с изложе-

нием своего понимания образа летописца Пимена критически отозвался о тех, кто под общим словом «романтизм» разумеет «произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности...»²⁴

Позднее Пушкин резко отзывался о тех французских писателях, которые решили, что и «нравственное безобразие может быть целью поэзии, т. е. идеалом», которые «любят выставлять порок всегда и везде торжествующим, и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие» (XII, 70). Всеми этому Пушкин противопоставлял нравственное здоровье исторически сложившегося русского национального характера, черты которого через летописную традицию в какой-то степени были отражены и Карамзинской «Историей». Следовательно, выдвигая гуманистический идеал человеческой личности, Пушкин строил его, опираясь на весь опыт человечества, отбирая лучшее, что было накоплено им, но прежде всего используя именно русский опыт, развивая и обогащая национальную традицию.

Для Пушкина (и это особенно существенно) этический план русской летописи, своеобразно отраженный и Карамзиным, был неразрывно связан с планом эстетическим. Об этом свидетельствует, в частности, уже приведенное выше замечание поэта: «...прогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов...». Иначе говоря, отсутствие в «Борисе Годунове» украшательства, вычурности, нарочитой усложненности, помпезности Пушкин прямо связывает с летописной традицией и ее этическим смыслом.

Этот принцип единства этического и эстетического начал имел огромное значение для литературного творчества Пушкина 1830-х гг., определяя какие-то существенные грани его стиля. Вместе с тем он оказался чрезвычайно важным в обстановке исканий, борьбы различных тенденций и течений, характерных для литературной жизни этого времени.

Мы уже говорили, что проблема исторических судеб России, ее места в мировом историческом процессе в сознании поэта была неразрывно связана с вопросом о месте русской литературы среди других литератур, о ее национальном своеобразии. В процессе раздумий о путях художественного развития национального стиля Пушкин пришел, как мы

²⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. М., 1958, т. 7, с. 73.

помним, к чрезвычайно важному выводу: необходимо, чтобы сами формы и стиль искусства соответствовали «нравам и духу» народа, его историческим судьбам. В этом плане — в свете проблемы национального своеобразия — для Пушкина, для всей тогдашней литературы приобретала существенное значение «История» Карамзина — литературный памятник, по-своему продолжавший летописную традицию.

В условиях напряженной борьбы за народность и самобытность русской литературы «летописный стиль» карамзинской «Истории» рассматривается Пушкиным в ряду своеобразных выражений национальной художественной формы. Интерес к нему связывался с общим интересом поэта к памятникам народной поэзии и древнерусской письменности. Он говорил о том, что наши народные легенды «заключают в себе... много истинной поэзии» (XI, 258). А советуя Жуковскому (в письме П. Плетневу от 14 апреля 1831 г.) читать «Четь-Минею, особенно легенды о киевских чудотворцах», он восторженно восклицал: «. прелесть простоты и вымысла!» (XIV, 163).

Эти художественные явления при всем их многообразии объединялись некими общими чертами самобытного стиля. Они противостояли, по мысли поэта, шеллингианству с его отвлеченностью, уходом в сверхчувственные миры, с его интерпретацией народности как иррационального «народного духа», всему тому, что буквально захлестывало литературу 1830-х гг. В неменьшей степени они противостояли романтической поэтике «ужасного», поэтизации «зла», «порока», столь характерной для входившей в моду «неистой словесности» — «словесности сатанической» (Пушкин). Наконец, своей эпичностью они резко отличались также и от вульгарно-«простонародной» литературы, отмеченной печатью натуралистичности, бескрылого бытовизма. Всему этому поэт противопоставлял иные критерии, критерии подлинно национального искусства: простоту, ясность, нравственную чистоту. Их он придерживается и в своей собственной практике.

В научной литературе достаточно убедительно показано, как в процессе изучения летописей и Карамзина Пушкин сам глубоко овладевал особенностями летописного мышления и стиля. Справедливо указывалось в этой связи на этическое и художественное значение созданного Пушкиным образа древнерусского летописца Пимена. Пушкину дорога

точка зрения летописца — воплощение высшего суда, неподкупности, народной, непреходящей правды. Насколько все это было важно — и не только в период создания «Бориса Годунова», видно из того, что даже в лирике поэта 1830-х гг. — наиболее сокровенной области творчества — порой явственно различимы отзвуки летописной (в пушкинском понимании) интонации. Эпически величавая и вместе с тем лирически преображенная, она словно просвечивает изнутри, придавая его стихам особый, неповторимый колорит.

Судьба родной земли, ее минувшее, мысль о будущем — об этом ведет свое «сказанье» летописец Пимен. Минувшее проходит перед ним, «волнуясь как море-окиян». Но разве смутные отзвуки подобного же строя мыслей и чувств не слышатся в лирике поэта, начиная от «Элегии» («Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море»), стихотворения «Вновь я посетил...» («Минувшее меня объемлет живо...») вплоть до «Памятника» с его итоговым:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца (III, 424) ²⁵.

В стихах поэта во многом продолжают сохраняться те же нравственно-эстетические черты: отсутствие «мелочности», «суетности», что-то одновременно младенческое и мудрое, сочетание простоты и величия, — все, о чем с такой проникновенностью писал Пушкин, имея в виду и русских летописцев.

Вчитываясь в памятную характеристику, которую дал им поэт, невольно ловишь себя на том, что она будит какие-то ассоциации, связанные не только с летописью, но и со всем древнерусским искусством в целом, с его «идеализирующей» тенденцией, которая на новом историческом рубеже была своеобразно возрождена гуманной поэзией Пушкина.

²⁵ В свете сказанного становится особенно очевидной внутренняя закономерность появления в стихотворении этого заключительного четверостишия и несостоятельность предпринимавшихся попыток противопоставить его содержанию предыдущих строф (М. Гершензон, В. Вересаев и др.). Начав стихотворение с эпиграфа из Горация и подхватив антично-державинскую традицию, Пушкин поверяет и завершает ее, опираясь на нравственно-эстетические категории национального стиля.

О Г Л А В Л Е Н И Е

От автора	3
Введение	5
Глава первая. На пути к новой философии и истории (Пушкин и Погодин)	12
Глава вторая. Проблема своеобразия исторических судеб России	69
Глава третья. Пушкин и «История государства Российского» Н. М. Карамзина	97

ИБ № 545

Иосиф Маркович Тойбин

**ПУШКИН И ФИЛОСОФСКО-
ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
В РОССИИ НА РУБЕЖЕ
1820-х и 1830-х ГОДОВ**

Редактор Л. Н. Нечепалева

Художник Ю. А. Зибров

Технический редактор О. В. Нагаева

Корректоры Н. Н. Масленникова, Н. В. Плахина

Одано в набор 28.03.80. Подп. в печ.

4.06.80. ЛЕ07455. Форм. бум. 60×84/16. Бумага типографская № 3.

Литературная гарнитура. Печать высокая.

Усл. п. л. 7, 2. Уч.-изд. л. 7, 0. Тираж 1500

Заказ 913. Цена 1 руб.

Издательство Воронежского университета

Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8

Типография издательства ВГУ

Воронеж, ул. Пушкинская, 3

О П Е Ч А Т К И

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
12	3 сверху (заголовки)	философии и истории	философии истории
46	5 сверху	поэзии	позиции
123	5-6 сверху	философии и истории	философии истории

Заказ 913